

ВОССТАНИЕ МАСС

La rebelión de las masas
Перевод. © Гелескул А.М., 2000

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

- I. Феномен стадности 15
- II. Исторический подъем 22
- III. Высота времени 30
- IV. Рост жизни 39
- V. Статистическая справка 47
- VI. Введение в анатомию массового человека . . 52
- VII. Жизнь высокая и неизменная,
или Рвение и рутина 59
- VIII. Почему массы вторгаются всюду,
во все и всегда не иначе как насилием 65
- IX. Одичание и техника 74
- X. Одичание и история 83
- XI. Век самодовольных недорослей 91
- XII. Варварство «специализма» 101
- XIII. Государство как высшая угроза 108

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

- XIV. Кто правит миром 117
- XV. Переходя к сути дела 179

- Из предисловия к французскому изданию
«Восстания масс» 182

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

ФЕНОМЕН СТАДНОСТИ

Происходит явление, которое, к счастью или к несчастью, определяет современную европейскую жизнь. Этот феномен — полный захват массами общественной власти. Поскольку масса, по определению, не должна и не способна управлять собой, а тем более обществом, речь идет о серьезном кризисе европейских народов и культур, самом серьезном из возможных. В истории подобный кризис разражался не однажды. Его характер и последствия известны. Известно и его название. Он именуется восстанием масс.

Чтобы понять это грандиозное явление, надо стараться не вкладывать в такие слова, как «восстание», «масса», «власть» и т.д., смысл исключительно или преимущественно политический. Общественная жизнь — процесс не только политический, но вместе с тем, и даже прежде того, интеллектуальный, нравственный, экономический, духовный, включающий в себя обычаи и всевозможные правила и условности вплоть до манеры одеваться и развлекаться.

Быть может, лучший способ подойти к этому историческому феномену — довериться зрению, выделив ту

черту современного мира, которая первой бросается в глаза.

Назвать ее легко, хоть и не так легко объяснить, — я говорю о растущем столпотворении, стадности, всеобщей переполненности. Города переполнены. Дома переполнены. Отели переполнены. Поезда переполнены. Кафе уже не вмещают посетителей. Улицы — прохожих. Приемные медицинских светил — больных. Театры, какими бы посредственными ни были спектакли, ломаются от публики. Пляжи не вмещают купальщиков. Становится вечной проблемой то, что прежде не составляло труда, — найти место.

Всего-навсего. Есть ли что проще, привычней и очевидней? Стоит, однако, вспороть будничную оболочку этой очевидности — и брызнет нежданная струя, в которой дневной свет, бесцветный свет нашего, сегодняшнего дня распахнет все многоцветие своего спектра.

Что же мы, в сущности, видим и чему так удивляемся? Перед нами — толпа как таковая, в чьем распоряжении сегодня все, что создано цивилизацией. Слегка поразмыслив, удивляешься своему удивлению. Да что же здесь не так? Театральные кресла для того и ставятся, чтобы их занимали, чтобы зал был полон. С поездами и гостиницами обстоит так же. Это ясно. Но ясно и другое — прежде места были, а теперь их не хватает для всех жаждущих ими завладеть. Признав сам факт естественным и закономерным, нельзя не признать его непривычным; следовательно, что-то в мире изменилось, и перемены оправдывают, по крайней мере на первых порах, наше удивление.

Удивление — залог понимания. Это сила и богатство мыслящего человека. Поэтому его отличительный, корпоративный знак — глаза, изумленно распахнутые в мир.

Все на свете незнакомо и удивительно для широко раскрытых глаз. Изумление — радость, недоступная футболисту, но она-то и пьянит философа на земных дорогах. Его примета — замороженные зрачки. Недаром же древние снабдили Минерву соевой, птицей с ослепленным навеки взглядом.

Столпотворение, переполненность раньше не были повседневностью. Что же произошло?

Толпы не возникли из пустоты. Население было примерно таким же пятнадцать лет назад. С войной оно могло лишь уменьшиться. Тем не менее напрашивается первый важный вывод. Люди, составляющие эти толпы, существовали и до них, но не были толпой. Рассеянные по миру маленькими группами или поодиночке, они жили, казалось, разбросанно и разобщенно. Каждый был на месте, и порой действительно на своем: в поле, в сельской глуши, на хуторе, на городских окраинах.

Внезапно они сгрудились, и вот мы повсеместно видим столпотворение. Повсеместно? Как бы не так! Не повсеместно, а в первом ряду, на лучших местах, облюбованных человеческой культурой и отведенных когда-то для узкого круга — для меньшинства.

Толпа, возникшая на авансцене общества, внезапно стала зримой. Прежде она, возникая, оставалась незаметной, теснилась где-то в глубине сцены; теперь она вышла к рампе — и сегодня это главный персонаж. Солистов больше нет — один хор.

Толпа — понятие количественное и визуальное: множество. Переведем его, не искажая, на язык социологии. И получим «массу». Общество всегда было подвижным единством меньшинства и массы. Меньшинство — это совокупность лиц, выделенных особыми качествами; масса — не выделенных ничем. Речь, следовательно,

идет не только и не столько о «рабочей массе». Масса — это «средний человек». Таким образом, чисто количественное определение — множество — переходит в качественное. Это — совместное качество, ничейное и отчуждаемое, это человек в той мере, в какой он не отличается от остальных и повторяет общий тип. Какой смысл в этом переводе количества в качество? Простейший — так понятней происхождение массы. До банальности очевидно, что стихийный рост ее предполагает совпадение мыслей, целей, образа жизни. Но не так ли обстоит дело и с любым сообществом, каким бы избранным оно себя ни считало? В общем, да. Но есть существенная разница.

В сообществах, чуждых массовости, совместная цель, идея или идеал служат единственной связью, что само по себе исключает многочисленность. Для создания меньшинства — какого угодно — сначала надо, чтобы каждый по причинам особым, более или менее личным, отпал от толпы. Его совпадение с теми, кто образует меньшинство, — это позднейший, вторичный результат особенности каждого, и, таким образом, это во многом совпадение несовпадений. Порой печать отъединенности бросается в глаза: именующие себя «нонконформистами» англичане — союз согласных лишь в несогласии с обществом. Но сама установка — объединение как можно меньшего числа для отъединения от как можно большего — входит составной частью в структуру каждого меньшинства. Говоря об избранной публике на концерте изысканного музыканта, Малларме тонко заметил, что этот узкий круг своим присутствием демонстрировал отсутствие толпы.

В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По од-

ному-единственному человеку можно определить, масса это или нет. Масса — всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью. Представим себе, что самый обычный человек, пытаясь мерить себя особой мерой — задаваясь вопросом, есть ли у него какое-то дарование, умение, достоинство, — убеждается, что нет никакого. Этот человек почувствует себя заурядностью, бездарностью, серостью. Но не «массой».

Обычно, говоря об «избранном меньшинстве», передегивают смысл этого выражения, притворно забывая, что избранные не те, кто кичливо ставит себя выше, но те, кто требует от себя больше, даже если требование к себе непосильно. И конечно, радикальней всего делить человечество на два класса: на тех, кто требует от себя многого и сам на себя взваливает тяготы и обязательства, и на тех, кто не требует ничего и для кого жить — это плыть по течению, оставаясь таким, каков ни на есть, и не силясь перерасти себя.

Это напоминает мне две ветви ортодоксального буддизма: более трудную и требовательную Махаяну — «большую колесницу», или «большой путь», — и более будничную и блеклую Хинаяну — «малую колесницу», «малый путь». Главное и решающее — какой колеснице мы вверим нашу жизнь.

Таким образом, деление общества на массы и избранные меньшинства типологическое и не совпадает ни с делением на социальные классы, ни с их иерархией. Разумеется, высшему классу, когда он становится высшим и пока действительно им остается, легче выдвинуть человека «большой колесницы», чем низшему, обычно и состоящему из людей обычных. Но на самом деле внут-

ри любого класса есть собственные массы и меньшинства. Нам еще предстоит убедиться, что плебейство и гнет массы даже в кругах традиционно элитарных — характерный признак нашего времени. Так, интеллектуальная жизнь, казалось бы, взыскательная к мысли, становится триумфальной дорогой псевдоинтеллигентов, не мыслящих, немислимых и ни в каком виде неприемлемых. Ничем не лучше останки «аристократии», как мужские, так и женские. И напротив, в рабочей среде, которая прежде считалась эталоном массы, не редкость сегодня встретить души высочайшего закала.

Далее. Во всех сферах общественной жизни есть обязанности и занятия особого рода, и способностей они требуют тоже особых. Это касается и зрелищных или увеселительных программ, и программ политических и правительственных. Подобными делами всегда занималось опытное, искусное или хотя бы претендующее на искусность меньшинство. Масса ни на что не претендовала, прекрасно сознавая, что если она хочет участвовать, то должна обрести необходимое умение и перестать быть массой. Она знала свою роль в целительной общественной динамике.

Если вернуться теперь к изложенным выше фактам, они предстанут безошибочными признаками того, что роль массы изменилась. Все подтверждает, что она решила выйти на авансцену, занять места и получить удовольствия и блага, прежде адресованные немногим. Заметно, в частности, что места эти не предназначались толпе, и вот она постоянно переполняет их, выплескиваясь наружу и являя глазам новое красноречивое зрелище — массу, которая, не перестав быть массой, упраздняет меньшинство.

Никто, надеюсь, не огорчится, что люди сегодня развлекаются с большим размахом и в большем числе, — пусть развлекаются, раз есть желание и средства. Беда в том, что эта решимость массы взять на себя функции меньшинства не ограничивается и не может ограничиться только сферой развлечений, но становится стержнем нашего времени. Забегая вперед, скажу, что новоявленные политические режимы, недавно возникшие, представляются мне не чем иным, как политическим диктатором масс. Прежде народовластие было разбавлено изрядной порцией либерализма и преклонения перед законом. Служение этим двум началам требовало от каждого большой внутренней дисциплины. Благодаря либеральным основам и юридическим нормам могли существовать и действовать меньшинства. Закон и демократия, узаконенное существование, были синонимами. Сегодня мы видим торжество гипердемократии, при которой масса действует непосредственно, вне всякого закона, и с помощью грубого давления навязывает свои желания и вкусы. Толковать эти перемены так, будто масса, устав от политики, препоручила ее профессионалам, неверно. Ничего подобного. Так делалось раньше, это и была демократия. Масса догадывалась, что в конце концов при всех своих изъянах и просчетах политики в общественных проблемах разбираются несколько лучше ее. Сегодня, напротив, она убеждена, что вправе давать ход и силу закона своим трактирным фантазиям. Сомневаюсь, что когда-либо в истории большинству удавалось править так непосредственно, напрямую. Потому и говорю о гипердемократии.

То же самое творится и в других сферах, особенно в интеллектуальной. Возможно, я заблуждаюсь, но все же те, кто берется за перо, не могут не сознавать, что рядо-

вой читатель, далекий от проблем, над которыми они бились годами, если и прочтет их, то не для того, чтобы чему-то научиться, а только для того, чтоб осудить прочитанное как несообразное с его куцыми мыслями. Масса — это посредственность, и, поверь она в свою одаренность, имел бы место не крах социологии, а всего-навсего самообман. Особенность нашего времени в том и состоит, что заурядные уши, не обманываясь насчет собственной заурядности, безбоязненно утверждают свое право на нее и навязывают ее всем и всюду. Как говорят американцы, выделяться неприлично. Масса сминает непохожее, недюжинное и лучшее. Кто не такой, как все, кто думает не так, как все, рискует стать изгоем. И ясно, что «все» — это отнюдь не все. Мир обычно был неоднородным единством массы и независимых меньшинств. Сегодня весь мир стал массой.

Такова жестокая реальность наших дней, и такой я вижу ее, не закрывая глаз на жестокость.

II

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ

Такова жестокая реальность, увиденная во всей ее жестокости. И кроме того, невиданная прежде. Никогда еще наша цивилизация не переживала ничего похожего. Какое-то подобие можно найти только вне нашей истории, погружаясь в иную жизненную среду, во всем отличную от нашей, — в античный мир накануне упадка. История Римской империи тоже была историей нис-

провержения, господства массы, которая поглотила правящее меньшинство, встала на его место. Возник феномен такой же стадности и скученности. Поэтому, как тонко подметил Шпенглер, здания стали гигантскими, наподобие наших. Эпоха масс — эпоха гигантомании*.

Мы живем под жестокой властью масс. Итак, я уже дважды назвал ее жестокой, отдал дань риторике, и теперь, расплатившись, можно с билетом в руке и с легким сердцем вторгаться в сюжет и видеть действие изнутри. Да и мог ли бы я довольствоваться такой прописью, пусть и верной, но беглой, лишь одной стороной медали, где настоящее искажено обратной перспективой? Застрянь я на этом в ущерб моему исследованию, читатель решил бы — и с полным основанием, — что небывалое извержение масс на поверхность истории вдохновило меня лишь на пару враждебных и высокомерных фраз, частью брезгливых, частью возмущенных, — меня, известного своим сугубо аристократическим толкованием истории**.

Подчеркиваю, что я никогда не призывал общество стать аристократичным. Я утверждал нечто большее и продолжаю твердить, день ото дня убежденней, что человеческое общество всегда, хочет оно того или нет, аристократично по самой своей сути, чем оно аристократичней, тем в большей степени оно общество, как и наоборот. Само собой, я говорю об обществе, а не о государстве. В немыслимом водовороте масс никого не обманет и не сойдет за аристократизм легкая гримаска версальского щеголя. Версаль — речь именно о таком, жеманном Версале — это не аристократия, а полный ее

* Трагично то, что с ростом этой скученности пустели села, и результатом было общее снижение численности имперского населения. — *Примеч. автора.*

** См.: *España invertebrada*, 1920. — *Примеч. автора.*

антипод: это смерть и разложение прославленного аристократизма. Оттого-то единственно аристократическим у этих господ было то пленительное достоинство, с которым они склоняли голову перед гильотиной — они смирялись с ней, как смиряется опухоль с ланцетом. Нет, того, кто ощутил истинное призвание аристократа, зрелище масс будит и воспламеняет, как девственный мрамор — скульптора. У такой аристократии нет ничего общего с тем узким и замкнутым кланом, который называет себя всеобъемлющим словом «общество», присвоив его как имя, и живет единственной заботой — быть или не быть туда принятым. У этого «изысканного мирка» есть и свои сподвижники в мире внешнем, есть у него, как у всего на свете, и свои достоинства, и свое назначение, но назначение второстепенное и несопоставимое с титаническим призванием подлинной аристократии. Я не считаю предосудительным говорить о смысле этой изысканной жизни, отнюдь не бессмысленной, но сейчас предмет разговора у нас иной и совсем иных масштабов. Да, кстати, и само это «избранное общество» следует духу времени. Я невольно задумался, когда одна юная и сверхсовременная дама, звезда первой величины в светском небе Мадрида, призналась мне: «Я не терплю балов, где меньше восьмисот приглашенных». Эта фраза удостоверяла меня, что массовый вкус торжествует во всех сферах жизни и утверждается даже в таких ее заповедных углах, которые предназначены, казалось бы, для *harry few**.

В общем, я отвергаю и такой взгляд на современность, когда в господстве масс не видят ни единого доброго знака, и противоположный, когда блаженно потирают руки, умудряясь не вздрагивать от страха. Судьба

* немногих счастливыхцев (англ.).

всегда драматична, и в ее глубинах вечно зреет трагедия. Кто не испытывал озноба перед угрозой времени, тот не проникал никогда в глубь судьбы и лишь касался ее нежной оболочки. Что же до нас, то эту тень угрозы несет нам сокрушительный и свирепый бунт массовой морали, неотвратимый, неодолимый и темный, как сама судьба. Куда он заведет? На беду он или на благо? Вот он, огромный, изначально двойственный, нависший над веком, как гигантский, космический вопросительный знак, в котором действительно что-то есть от гильотины или виселицы, но и что-то еще, готовое стать триумфальной аркой!

В том процессе, который предстоит анализировать, можно выделить два момента: во-первых, сегодня массы достигли жизненного уровня, подобного тому, который прежде казался предназначенным лишь для немногих; во-вторых, массы вышли из повиновения, не подчиняются никакому меньшинству, не следуют за ним и не только не считаются с ним, но и вытесняют его и сами его замещают.

Начнем с первого утверждения. В нем говорится, что массы наслаждаются теми благами и пользуются теми достижениями, которые созданы избранным меньшинством и прежде принадлежали только ему. Стали массовыми те запросы и потребности, которые прежде считались утонченными, поскольку были достоянием немногих. Простой пример — в 1820 году в Париже не насчитывалось и десяти ваннх комнат (см. мемуары графини де Буань). Больше того, сегодня массы довольно успешно овладевают и пользуются техникой, которая прежде требовала специалистов. И техникой, что особенно важно, не только материальной, но также юридической и социальной.

В XVIII веке определенные узкие круги открыли, что каждому человеку, без каких-либо оценок, один уже факт его появления на свет дает основные политические права, названные правами человека и гражданина, и что в действительности лишь эти всеобщие права и существуют. Все иные права, связанные с личными заслугами, осуждались как привилегии. Вначале это было идеей немногих и чистой теорией, но вскоре эти немногие, лучшие из немногих, стали воплощать свою идею в жизнь, утверждать и отстаивать ее. Однако в течение всего XIX века масса, вдохновляясь идеей всеобщих прав как идеалом, за собой этих прав не чувствовала, не пользовалась и не дорожила ими, а продолжала жить и ощущать себя в условиях демократии так же, как и до нее. «Народ» — так теперь в духе времени именовали массу, — «народ» уже знал, что он властитель, но сам в это не верил. Лишь сегодня идеал осуществился — и не в законодательстве, в этом поверхностном чертеже общественной жизни, а в сердце каждого человека независимо от убеждений, включая убежденных реакционеров; другими словами — включая тех, кто крушит и вдребезги разносит устои, обеспечившие ему всеобщие права. Этот моральный настрой массы крайне любопытен, и, по-моему, не разобравшись в нем, нельзя понять происходящего. Приоритет человека вообще, без примет и отличий, человека как такового, превратился из общей идеи или правового идеала в массовое мироощущение, во всеобщую психологическую установку. Заметим, что идеал, осуществляясь, перестает быть идеалом. Притягательность и магическая власть над человеком, присущие идеалу, исчезают. Уравнительные права, рожденные благородным демократическим порывом, из надежд и чаяний превращаются в вожделения и бессознательные домогательства.

Все так, но ведь смысл равноправия в том и состоял, чтобы выволить человеческие души из внутреннего рабства и уверить их в собственном достоинстве и могуществе. Чего добивались? Чтобы простой человек ощутил себя господином своей судьбы? Цель достигнута. На что же так сетуют уже третье десятилетие либералы, демократы, прогрессисты? Или они, как дети, любят резвиться и не любят ушибаться? Хотелось, чтобы рядовой человек стал господином? Нечего тогда удивляться, что он живет для себя и в свое удовольствие, что он твердо навязывает свою волю, что он не терпит подчинения и не подчиняется никому, что он поглощен собой и своим досугом, что он кичится своей экипировкой. Все это исконно господские черты. Сегодня мы распознаем их в рядовом человеке, в массе.

Итак, в жизнь рядового человека вошло все то, что прежде отличало лишь самые верхи общества. Но рядовой человек и есть та поверхность, над которой зыблется история каждой эпохи; в истории он — то же самое, что уровень моря в географии. И если сегодня средний уровень достиг отметки, которой прежде касались лишь аристократы, надо честно признать, что уровень истории внезапно поднялся — подземный процесс был долгим, но итог его стремительный, не дольше жизни одного поколения. Человеческая жизнь, вся разом, пошла в гору. У рядовых современности много, так сказать, командирского; человеческое войско сегодня — сплошь офицеры. Достаточно видеть, как решительно, ловко и лихо каждый из них добивается успеха, срывает удовольствия и гнет свое.

Все блага и все беды настоящего и ближайшего будущего берут истоки в этом общем подъеме исторического уровня.

Невольно напрашивается одна мысль. То, что средний уровень жизни — уровень некогда элитарный, ново для Европы, но исконно для Америки. Чтобы ясней понять меня, обратитесь к осознанию своего равноправия. То психологическое состояние, когда человек сам себе хозяин и равен любому другому, в Европе обретали немногие и лишь особо выдающиеся натуры, но в Америке оно бытовало с XVIII века — по сути, изначально. И любопытное совпадение! Едва этот психологический настрой появился у рядового европейца, едва вырос общий его жизненный уровень, как тут же стиль и облик европейской жизни повсеместно приобрели черты, заставившие многих говорить: «Европа американизируется». Говорившие так не придавали переменам особого значения — они думали, что дело сводится к легкому подражанию чужим модам и нравам, и, обманутые внешним сходством, приписывали это бог весть какому американскому влиянию. И, на мой взгляд, упрощали проблему, которая гораздо глубже, тоньше и неординарней.

Из вежливости я мог бы сказать заокеанским гостям, что Европа действительно американизировалась и что причиной тому американское влияние. Но вежливость, увы, сталкивается с истиной и должна уступить. Европа не американизировалась. И даже не испытала заметного влияния Америки. То и другое, возможно, происходит сегодня, но отсутствовало в недавнем прошлом, из которого это «сегодня» возникло. Досадный груз ложных представлений мешает нам разглядеть и американцев, и европейцев. Торжеством масс и последующим сказочным подъемом жизненного уровня Европа обязана двухвековому внутреннему процессу — материальному обогащению общества, воспитанного прогрессистами. Но результат совпал с первостепенной чертой американского

развития, и лишь по той причине, что моральное самочувствие рядового европейца совпало с американским, европейцу впервые стал понятен американский образ жизни, прежде для него темный и загадочный. Суть, таким образом, не в постороннем влиянии, не в чем-то отраженном, а гораздо неожиданней — суть в уравнивании.

Европейцы всегда смутно чувствовали, что средний уровень жизни в Америке выше, чем у них. Чувство, не слишком отчетливое, но очевидное, приводило к мысли, общепринятой и не подлежащей сомнению, что Америка — это будущее. Понятно, что столь расхожее и упорное мнение не занесено ветром, подобно орхидее, способной, по слухам, расти без корней. Его укрепляло именно это чувство превосходства среднего уровня заокеанской жизни, особенно осязаемое при большей состоятельности европейской элиты сравнительно с американской. Но история, как земледелие, зависит от долин, а не от пиков, от средних отметок общественной жизни, а не от перепада высот.

Мы живем в эпоху уравнивания — уравниваются богатства, уравнивается культура, уравнивается слабый и сильный пол. И точно так же уравниваются континенты. А поскольку европеец жизненно обрелся ниже, от этой нивелировки он только выиграл. Под таким углом зрения нашествие масс выглядит как небывалый прилив жизненных сил и возможностей — вопреки всему, что твердят нам о закате Европы. Само это выражение темно и топорно, да и неясно, что имеется в виду — европейские государства, европейская культура или то, что подспудней и бесконечно важнее, а именно — европейская жизненная сила. Что до государственности и культуры, о них еще зайдет речь — и, возможно, упомянутое

выражение вполне пригодится, — но что касается жизненной энергии, то налицо грубейшая ошибка. Быть может, изложенное иначе, мое утверждение покажется более убедительным или хотя бы менее неправдоподобным: я утверждаю, что сегодня рядовой итальянец, рядовой испанец, рядовой немец по своему жизненному тону меньше отличаются от янки или аргентинца, чем тридцать лет назад. И американцам не следует забывать это обстоятельство.

III

ВЫСОТА ВРЕМЕНИ

Итак, у господства масс есть и лицевая сторона медали, которая знаменует собой всеобщий подъем исторического уровня и означает, что обыденная жизнь сегодня выше вчерашней отметки. Это заставляет признать, что у жизни бывают разные высотные отметки, и вспомнить выражение, которое от бессмысленного употребления отнюдь не утратило смысла. Остановимся на нем, поскольку это поможет выявить одну неожиданную черту нашей эпохи.

Нередко, например, приходится слышать, что то или другое явление не на высоте своего времени. В самом деле, не абстрактное хронологическое время, линейное и ровное, а время живое, насущное, о котором каждое поколение говорит «наше время», всегда достигает какой-то высоты, сегодня превышает вчерашнюю, или удерживается на ней, или падает еще ниже. Ощущением этого и рожден образ падения — упадок. Точно так же каждый в отдельности с большей или меньшей остротой

ощущает, насколько его жизнь соотносится с высотой выпавшего на его долю времени. И есть те, кто в современном мире чувствует себя утопающим, бессильным выбраться на поверхность. Быстрота, с которой все меняется, энергия и напор, с которыми все совершается, угнетают людей архаического склада, и степень угнетенности — это мера разлада их жизненного ритма с ритмом эпохи. С другой стороны, в сознании тех, кто охотно и полно живет настоящим, высота своего времени как-то соотносится с прежними временами. Как именно?

Неправда, что прошлое ниже настоящего лишь оттого, что оно прошло. Вспомним, что для Хорхе Манрике, как ему «мнилось»,

Всегда времена были
Лучше, чем наши.

Но и это неправда. Не всегда настоящее ставилось ниже старины, и не всегда оно представлялось выше всего, что прошло и запомнилось. Высота, достигнутая жизнью, каждой эпохой ощущалась по-своему, и странно, что историки и философы прошли мимо столь очевидного и важного факта.

То чувство, которое выразил Манрике, явно преобладало, по крайней мере если брать его *grosso modo**. Чаше всего свое время не казалось лучшим. Наоборот, лучшими временами, пределом жизненной полноты представлялась человеку смутная древность: «золотой век», как говорим мы, вскормленные античностью; «альчеринга», как говорят австралийские аборигены. Это свидетельствовало, что людям пульс их жизни казался вялым, недостаточно сильным и упругим, чтобы наполнить вены. Оттого они чтили старину, «славное» прошлое,

* в общих чертах, в целом (*ut.*).

когда жизнь — не в пример их собственной — была обильной, полной, бурной и прекрасной. Глядя вспять и воображая те счастливые времена, они смотрели на них не свысока, а, напротив, — снизу вверх, как смотрел бы температурный столбик, обладай он сознанием, на градус, которого недобрал, потому что не хватило калорий. Ощущение, что жизнь опускается, мельчает, съезживается, что пульс ее слабеет, с середины II века после Рождества Христова стало охватывать Римскую империю. Еще Гораций восклицал: «Наши отцы, недостойные делов, еще худших отцов породили для недостойнейшего потомства» (Оды, книга III, б).

*Aetas parentum peior avis tulit
nos nequiores, mox daturos
progeniem vitiosorem.*

Два века спустя в империи уже не хватало достаточно храбрых италиков, чтобы занять места центурионов, и для этого пришлось нанимать далматов, а затем дунайских и рейнских варваров. Женщины тем временем обесплодели, а Италия обезлюдела.

Есть, однако, эпохи иного и, казалось бы, совершенно противоположного склада, опьяненные своим жизнеощущением. Речь идет о любопытном феномене, который крайне важно уяснить. Когда лет тридцать назад политики витийствовали перед толпой, они обычно клеймили очередной промах или произвол правительства словами: «Это недостойно нашего времени». Любопытно, что Траян в знаменитом письме Плинию, предписывая не преследовать христиан по анонимным доносам, употребил ту же самую фразу: «Nec nostri saeculi est». Следовательно, есть эпохи, которые чувствуют себя

вознесенными на абсолютную и предельную высоту, времена, которые представляются исходом, исполнением надежд и свершением вековых устремлений. Это — «совершенное время», окончательная зрелость исторического бытия. Действительно, тридцать лет назад европейцы верили, что жизнь человечества становится наконец такой, какой она должна стать, какой мечтали ее видеть многие поколения и какой она останется навсегда. Совершенное время ощущает себя зенитом, вершиной стольких эпох несовершенных, предварительных, пробных, ступенька за ступенькой ведущих к этой зрелой полноте. С вершины кажется, что все предшествующее жило единственно лишь бесплотной мечтой и несбыточной надеждой, что это были времена неутоленной жажды, пламенных упований, вечного «доколе» и жестокого разлада мечты с явью. Таким виделось XIX веку Средневековье. И вот настает День, когда вековые, иногда тысячелетние чаяния, похоже, исполняются — жизнь вобрала их в себя и следует их воле. Мы на желанной вершине, у заветной цели, в зените времени! Вечное «доколе» преобразилось в «наконец-то».

Таким было жизнеощущение наших отцов и всего их века. Нельзя это забывать, ибо время миновало зенит. И у всех, кто душою там, в столь недавней полноте прошлого, наше время при взгляде на него с высокой колокольни должно неизбежно рождать иллюзию заката и упадка.

Но тому, кто искушен в истории, трезво вслушивается в ее пульс и не ослеплен воображаемой полнотой, обман зрения не грозит.

Как уже было сказано, самое существенное для «совершенного времени» — это удовлетворение давних нужд, тяжело и горестно длившихся веками и наконец-то утоленных. В результате такие времена испытывают чув-

ство удовлетворенности, они довольны собой, а порой даже, как XIX век, слишком самодовольны*.

Но теперь-то мы видим, что эти времена, такие довольные, такие успешные, внутренне мертвы. Не в довольстве, не в успехе, не в достигнутой гавани истинная полнота жизни. Еще Сервантес говорил: «Дорога всегда лучше привала». Время, утолившее свою жажду, свою мечту, не ждет больше ничего, потому что истоки его стремлений иссякли. Иными словами, пресловутая полнота — это в действительности развязка. Есть эпохи, которые бессильны обновить свои запросы и умирают от удовлетворенности, как умирает после брачного полета довольный трутень**.

Надо ли удивляться, что времена упомянутой полноты неизменно таят на дне характерный осадок особой, присущей им унылости.

Мечтой, так долго остававшейся подспудной и лишь в XIX веке как будто бы воплощенной, было то, что емко само себя окрестило «современной культурой». Определение настораживает. Время именует себя «современностью», то есть окончательной и полной завершенностью, для которой все иные времена — прошедшие, все они лишь подступы и порывы к ней! Жалкие, вслепую пущенные стрелы***!

* Перечтите удивительные страницы Гегеля о временах довольства в его «Философии истории». — *Примеч. автора.*

** Надписи на монетах, отчеканенных при Алриане, единодушны: «Italia felix Saeculum aureum. Tellus stabilita. Temporum felicitas» («Счастливая Италия. Золотой век. Прочный мир. Счастливые времена»). Кроме большого нумизматического каталога Козна, отдельные монеты воспроизведены у Ростовцева в «The social and economic history of the Roman Empire» (1926, табл. LII и с. 588. прим. 6.). — *Примеч. автора.*

*** Исходное значение слова «современность», которым нарекло себя время, предельно выражает обрисованное мною ощущение «зенита». Современность то, что соответствует времени, воспринятому как совершенно новое, как такое настоящее, которое идет вразрез со всем устоявшимся, традиционным и оставленным далеко позади. Слово «современный», таким образом, заключает в себе понятие новой жизни, превосходящей прежнюю, и требование быть на высоте времени. Не быть «современным» равносильно падению, утрате исторического уровня. — *Примеч. автора.*

Не здесь ли пролегает граница между нашим и таким недавним, но уже вчерашним днем? В самом деле, наше время не чувствует себя окончательным — напротив, в основе его лежит ощущение, что времен окончательных, надежных, раз навсегда установленных не бывает, а притязания жизненного уклада, именуемого «современной культурой», на окончательность нам кажутся непонятным ослеплением и крайней узостью кругозора. И мы облегченно чувствуем, что вырвались из тесного и безвыходного загона в бескрайний звездный мир, настоящий, грозный, непредсказуемый и неистощимый, где возможно все — от наилучшего до наихудшего.

Вера в современную культуру была унылой: безрадостно знать, что завтрашний день в основном повторит сегодняшней, что прогресс — это шаг за шагом по дороге, неотличимой от уже пройденной. Такая дорога больше смахивает на тюрьму, которая растягивается, как резина, не выпуская на волю.

Когда в молодой еще империи какой-нибудь одаренный провинциал — скажем, Лукан или Сенека — попал в Рим и видел величественные имперские сооружения, сердце его сжималось. Ничего нового не могло уже произойти в мире. Рим был вечен. И если есть уныние руин, нависшее над ними, как туман над болотом, то чуткий провинциал ощущал такой же тяжкий гнет, но с обратным знаком — уныние вечных стен.

Сравнительно с этим не выглядит ли наше мироощущение шумной радостью детей, сбегавших из школы? Одному Богу известно, что будет завтра, и это тайно радует нас, потому что лишь в открытой дали, где все неожиданно, все возможно, и есть настоящая жизнь, подлинная полнота жизни.

Такая картина — разумеется, половинчатая — расходуется с теми слезливыми жалобами на упадок, которыми изводят нас писания современников. Дело тут в обмане зрения, у которого много причин. О них поговорим позже, а сейчас упомяну лишь самую явную. Следуя идеологии, на мой взгляд рискованной, в истории видят только политику или культуру, не замечая, что это лишь поверхность, а глубинная реальность истории — прежде всего биологическая мощь, нечто от энергии космической: чистейшая жизненная сила, если не тождественная, то родственная той, что движет моря, плодит земную тварь, раскрывает цветы и зажигает звезды.

Предлагаю диагностам упадка следующие соображения.

Упадок, бесспорно, понятие сравнительное. Падают сверху вниз, из высшего состояния в низшее. А сравнивать можно с разных и каких угодно точек зрения. Для изготовителя янтарных мундштуков мир явно в упадке, поскольку мундштуками уже не пользуются. Возможны точки зрения поосновательней, но оттого они не становятся менее частными, произвольными и сторонними той жизни, чье достоинство придиричиво оценивают. Есть лишь одна оправданная и естественная точка зрения — окунуться в жизнь и, увидев ее изнутри, судить, ощущает ли она себя упадочной, то есть немощной, пресной и скудной.

Но как распознать, даже при взгляде изнутри, ощущает себя жизнь упадочной или нет? Решающий признак для меня бесспорен: ту жизнь, которая не завидует никакой другой и, следовательно, из всех, когда-либо бывших, предпочитает себя, никоим образом нельзя все-

рьез называть упадочной. К этому и вели мои рассуждения о «высоте своего времени». Ибо именно нашему выпало жизнеощущение редкостное и, насколько могу судить, небывалое в истории.

В салонах прошлого века неминуемо наступала минута, когда дамы и дамские поэты задавали друг другу фатальный вопрос: «В какие времена вам хотелось бы жить?» И вот каждый, взвалив на плечи муляж собственной жизни, пускался мысленно бродить по дорогам истории в поисках эпохи, где данный слепок пришелся бы как нельзя кстати. А это значит, что пресловутый девятнадцатый век, при всем сознании своего совершенства — а может быть, в силу такого сознания, — был неотделим от прошлого, чьи плечи ощущал под собой; по сути, он видел в себе осуществленное прошлое. Отсюда его вера в образцовые, пусть и с оговорками, времена — век Перикла, Ренессанс — те, что готовили ему почву. И отсюда наша недоверчивость к эпохам свершений: полуобернутые вспять, они движутся с оглядкой на прошлое, которое осуществляют.

А теперь задайте упомянутый вопрос человеку вполне современному. Готов поручиться, что прошлые века, все без исключения, показались бы ему тесным загонном, где трудно дышать. Значит, сегодняшний человек ощущает в себе больше жизни, чем ощущали встарь, или, другими словами, все прошлое целиком, от начала до конца, слишком мало для современного человечества. Такое жизнеощущение сводит на нет все рассуждения об упадке.

Прежде всего наша жизнь чувствует себя огромней любой другой. Какой же тут упадок? Наоборот, чувство превосходства лишает ее уважения и даже внима-

ния к былому. Впервые в истории возникает эпоха без эталонов, которая не видит позади ничего образцового, ничего приемлемого для себя, — прямая наследница стольких веков, она тем не менее похожа на вступление, на рассвет, на детство. Мы озираемся, и прославленный Ренессанс нам кажется провинциальным, узким, кичливым и — что греха таить — вульгарным.

Все это мне уже довелось подытожить так: «Жестокый разрыв настоящего с прошлым — главный признак нашей эпохи, и похоже, что он-то и вносит смятение в сегодняшнюю жизнь. Мы чувствуем, что внезапно стали одинокими, что мертвые умерли всерьез, навсегда и больше не могут нам помочь. Следы духовной традиции стерлись. Все примеры, образцы, эталоны бесполезны. Все проблемы, будь то в искусстве, науке или политике, мы должны решать только в настоящем, без участия прошлого. Лишенный своих бессмертных мертвых, европеец одинок; подобно Петеру Шлемилю, он утратил тень. Именно это случается в полдень»*.

Какова же в итоге высота нашего времени?

Это не зенит, и тем не менее такого ощущения высоты не было никогда. Нелегко определить, какой видит себя наша эпоха: она и убеждена, что выше всех, и одновременно чувствует себя началом, и не уверена, что это не начало конца. Как бы это выразить? Может быть, так: она выше любой другой и ниже самой себя. Она могуча и не уверена в себе. Горда и напугана собственной мощью.

* См. мою работу «Дегуманизация искусства» (см. стр. 209—268 наст. издания. — *Примеч. ред.*). — *Примеч. автора.*

IV

РОСТ ЖИЗНИ

Захват власти массами и возросшая вслед за ним высота времени — в свою очередь лишь следствия одной общей причины. Причина почти гротескная и неправдоподобная в явной своей и привычной очевидности. Просто-напросто мир нежданно вырос, а в нем и вместе с ним выросла и жизнь. Прежде всего она стала планетарной; я хочу сказать, что жизнь рядового человека вмещает сегодня всю планету, что простой смертный привычно обживает весь мир. Год с небольшим назад севилицы, раскрыв газету, шаг за шагом прослеживали путь полярников; над раскаленными бетийскими пашнями дрейфовали льды. Каждая пядь земли уже не вмещается в топографические рамки и влияет на жизнь в любой точке планеты. А поскольку физика расположение тел определяет по их воздействию, следует любую точку планеты признать вездесущей. Эта близость дальнего, доступность недоступного фантастически раздвинула жизненный горизонт каждого человека.

Но мир вырос и во времени. Археология чудовищно расширила историческое пространство. Империи и целые цивилизации, о которых мы вчера еще не подозревали, входят в наше сознание, как новые континенты. Экраны и журналы доносят эту незапамятную древность до глаз обывателя.

Само по себе это пространственно-временное расширение мира не значило бы ровным счетом ничего. Физическое пространство и время — вселенский абсурд. И в том культе скорости, который ныне исповедуют,

больше смысла, чем принято думать. Скорость так же бессмысленна, как ее слагаемые — пространство и время, — но она их упраздняет. Глупость можно обуздать лишь большей глупостью. Победа над космическим пространством и временем, полностью лишенными смысла, стала для человека делом чести*, и неудивительно, что мы по-детски радуемся бесплодной скорости, с помощью которой истребляем пространство и сводим на нет время. Упраздняя, мы оживляем их, делаем житейски пригодными, позволяющими большее число мест обживать, легче менять их и вбирать больше физического времени в меньший жизненный отрезок.

Но существенно даже не то, что мир увеличился в размерах; существенней, что в мире всего стало больше. Всего, что можно придумать, пожелать, создать, разрушить, найти, употребить или отвергнуть — что ни глагол, то сгусток жизненной активности.

Возьмем самое житейское — например, покупку. Представьте, что два человека, один — в наши дни, а другой — в XVIII веке, владеют одинаковым, соответственно ценам обеих эпох, состоянием, и сравните ассортимент товаров, доступных тому и другому. Разница почти фантастическая. Возможности современного покупателя выглядят практически безграничными. Трудно вообразить вещь, которой не было бы на прилавках, и наоборот — невозможно вообразить все, что там есть. Могут возразить, что при соответственно одинаковом достатке человек и в наши дни купит не больше, чем в XVIII веке. Но это не так. Промышленность удешевила

* Именно потому, что срок жизни ограничен, именно потому, что люди смертны, они и спешат одолеть, обрести все, что дается слишком долго и слишком поздно. Господу, вечно сущему, автомобиль ни к чему. — *Примеч. автора.*

стоимость едва ли не всех изделий. Впрочем, не это меня занимает, и я постараюсь объясниться.

С точки зрения жизненной активности «купить» означает облюбовать товар; это прежде всего выбор, а выбор начинается с обзора возможностей, предложенных торговлей. Отсюда следует, что такой вид жизнедеятельности, как купля, заключается в проигрывании вариантов, в самой возможности купить. Говоря о жизни, обычно забывают самое, на мой взгляд, существенное: наша жизнь — это всегда и прежде всего уяснение возможного. Если бы всякий раз нам предоставлялась одна-единственная возможность, само это слово утеряло бы смысл. То была бы чистейшая неизбежность. Но таково уж удивительное и коренное свойство нашей жизни, что у нее всегда несколько дорог, и перепутье принимает облик возможностей, из которых мы должны выбирать*. Жить означает то же самое, что попасть в орбиту определенных возможностей. Эту среду привычно именуют «обстоятельствами». Жить — значит очутиться в кругу обстоятельств — или в мире. Таков изначальный смысл понятия «мир». Это совокупность наших жизненных возможностей — и не что-то отделенное и стороннее нашей жизни, но ее внешний контур. Он охватывает все, чем мы можем стать, нашу жизненную потенцию. Но для своего осуществления ей надо определиться — обрести пределы; другими словами, мы становимся лишь малой долей того, чем могли бы стать. Поэтому мир нам кажется таким огромным, а мы в нем — такими крохотными. Мир, или наша возможная жизнь, неизбежно больше нашей участи, или жизни действительной.

* Даже в наихудшем случае, когда жизнь сужается до одного-единственного выхода, всегда есть и второй — уход из жизни. Но ведь уход из жизни — такая же часть ее, как дверь — часть дома. — *Примеч. автора.*

Сейчас я хочу лишь показать, насколько жизнь потенциально стала больше. Сфера ее возможностей шире, чем когда-либо. В области мысли сегодня больше простора для появления идей, больше проблем, больше фактов, больше знаний, больше точек зрения. Если в первобытной жизни занятия можно пересчитать по пальцам — охотник, пастух, воин, колдун, — то сегодня перечень профессий нескончаем. То же самое с развлечениями, хотя разнообразие здесь и не так велико, как в остальных сферах жизни, — и это обстоятельство гораздо серьезней, чем кажется. Тем не менее для рядового горожанина — а город и есть олицетворение современности — возможность получить удовольствие выросла в нашем веке небывало.

Но рост жизненной силы не сводится к вышеперечисленному. Она выросла в самом прямом и загадочном смысле. Общеизвестно и даже привычно, что в атлетике и спорте *performances** сегодня намного выше всего ранее известного. Стоит обратить внимание не только на новые рекорды, но и на то ощущение, которое рождает их частота, убеждая нас ежечасно, что сегодня у человеческого организма больше возможностей, чем было когда-либо. Ведь нечто похожее происходит и в науке. За какие-нибудь десять лет она немислимо раздвинула границы Вселенной.

Физика Эйнштейна обитает в таком обширном пространстве, что на долю старой ньютоновской физики там приходится лишь тесный закуток. И обязано это экстенсивное развитие столь же экстенсивному развитию научной точности. Физика Эйнштейна рождена вниманием к таким минимальным различиям, какими раньше

* достижения (*фр.*).

пренебрегали ввиду их незначительности. Наконец, атом, вчерашний предел мыслимого мира, сегодня раздулся до размеров планетной системы. Упоминая все это, я говорю не о росте и превосходстве культуры, в данный момент меня не интересующей, но о росте индивидуальных способностей, которым она обязана. Я подчеркиваю не то, что физика Эйнштейна точнее Ньютоновой, а то, что Эйнштейн как человек способен на большую точность и духовную свободу*, чем Ньютон, — подобно тому, как сегодняшний чемпион по боксу наносит удары с большей силой, чем когда-либо.

Пока фильмы и фотографии развлекают рядового человека самыми недоступными ландшафтами, газеты и репродукторы приносят ему новости об упомянутых интеллектуальных регфогтапсес, наглядно подтвержденных витринным блеском технических новинок. Все это коптит в его сознании ощущение сказочного всемогущества.

Я не хочу этим сказать, что человеческая жизнь сегодня лучше, чем в иные времена. Я говорю не о качестве жизни, а об ее напоре, об ее количественном или потенциальном росте. Я надеюсь таким образом поточнее обрисовать мироощущение современного человека, его жизненный тонус, обусловленный сознанием небывалых возможностей и кажущимся инфантилизмом минувших эпох.

Это необходимо, чтобы опровергнуть разглагольствования об упадке, и прежде всего упадке европейском, который отравил воздух последнего десятилетия. Вспом-

* Вселенная Ньютона была бесконечной, но бесконечность ее бессодержательна — это голое обобщение, пустая и бесплодная утопия. Вселенная Эйнштейна конечна, но конкретна и содержательна в каждой своей точке — следовательно, в нее больше вместились, и в итоге она протяженнее. — *Примеч. автора.*

ните соображение, которое я предлагал и которое кажется мне таким же простым, как и очевидным. Не стоит заговаривать об упадке, не уточнив, о каком. Касается ли этот пессимизм культуры? Европейская культура в упадке? Или в упадке лишь европейские национальные институты? Предположим, что так. Дает ли это право говорить о европейском упадке? Только отчасти. В том и другом случаях упадок частичен и касается вторичных продуктов истории — культуры и наций. Есть лишь один всеобъемлющий упадок — утрата жизнеспособности, — а существует он лишь тогда, когда ощущается. Поэтому и пришлось мне рассматривать феномен, мало кем замеченный — осознание или ощущение каждой эпохой своего жизненного уровня.

Как было сказано, одни эпохи чувствуют себя «в зените», а другим, напротив, кажется, что они утратили высоту и скатились к подножию древнего и блистательного «золотого века». И в заключение я отметил очевиднейший факт: нашему времени присуще редкостное чувство превосходства над любыми другими эпохами; больше того — оно не приводится с ними к общему знаменателю, равнодушно к ним, не верит в образцовые времена и считает себя совершенно новой и высшей формой жизни.

Думаю, что нельзя, не опираясь на это, понять наше время. Именно здесь его главная проблема. Если бы оно ощущало упадок, то смотрело бы на прошлое снизу вверх и потому считалось с ним, восхищалось им и чтило его заветы. У нашего времени были бы ясные и четкие цели, хоть и не было бы сил достичь их. Действительность же прямо противоположна: мы живем в эпоху, которая чувствует себя способной достичь чего угодно, но не знает,

чего именно. Она владеет всем, но только не собой. Она заблудилась в собственном изобилии. Больше, чем когда-либо, средств, больше знаний, больше техники, а в результате мир как никогда злосчастен — его сносит течением*.

Отсюда то странное, двойственное чувство всесилы и неуверенности, что гнездится в современной душе. К ней применимо сказанное регентом о малолетнем Людовике XV: «Налицо все таланты, кроме одного — умения ими пользоваться». Многие казалось уже невозможным XIX веку, твердому в своей прогрессистской вере. Сегодня, когда все нам кажется возможным, мы догадываемся, что возможно также и наихудшее: регресс, одиночество, упадок**. Признак сам по себе неплохой — он означает, что мы снова соприкасаемся с изначальной уязвимостью жизни, с той мучительной и сладкой тревожностью, которую таит каждое мгновение, если оно прожито до конца, до самой своей трепетной и кровотокающей сути. Обычно мы сторонимся этого пугающего трепета, от которого любое безобидное мгновение становится крохотным летучим сердцем; ради безопасности мы силится стать бесчувственными к извечному драматизму нашей судьбы, прибегая к наркозу рутины и косности. И поистине благотворно, что впервые за три века мы застигнуты врасплох и не ведаем, что будет с нами завтра.

* Духовная свобода, то есть интеллектуальная мощь, измеряется способностью разделять понятия, традиционно нераздельные. Разделение понятий требует больше сил, чем их ассоциация, как показал Келлер в его исследованиях интеллекта шимпанзе. Никогда еще человеческий разум не обладал такой способностью разъединять, как сейчас. — *Примеч. автора.*

** Отсюда и возникает ощущение упадка. Причина не в том, что мы находимся в упадке, а в том, что мы готовы ко всему, не исключая упадка. — *Примеч. автора.*

Всякий, кто относится к жизни нешуточно и считает себя полностью ответственным за нее, не может не испытывать известного рода тревогу, которая заставляет его быть начеку. Римский устав предписывал часовому держать палец на губах, чтобы оставаться бдительным и не поддаваться дремоте. Жест неплох и словно подчиняет ночную тишину еще большему безмолвию, чтобы уловить тайные шаги грядущего. Эпохи свершений — и в их числе девятнадцатый век — в беспечном ослеплении не опасались будущего, приписав ему законы небесной механики. И либерализм прогрессистов, и социализм Маркса равно предполагали, что желаемый, а значит, наилучший вариант будущего осуществится неукоснительно, с почти астрономической предрешенностью. Видя в этой идее свое самооправдание, они выпускали из рук руль истории, теряли бдительность, утрачивали маневренность и везучесть. И жизнь, ускользнув от них, окончательно отбилась от рук и побрела куда глаза глядят. Под личиной прогрессиста крылось равнодушие к будущему, неверие ни в какие внезапные перемены, загадки и превратности, убеждение, что мир движется по прямой, неуклонно и непреложно, утрачивая тревожность будущего и окончательно оставаясь в настоящем. Недаром кажется, что в мире уже перевелись идеалы, предвидения и планы. Никого они не заботят. Такова вечная изнанка истории — когда масса восстает, ведущее меньшинство разбегается.

Пора, однако, вернуться к водоразделу, обозначенному господством масс. С освещенного благодатного склона переберемся теперь на другую сторону, теневую и куда более опасную.

V

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В этой работе я хотел бы угадать недуг нашего времени, нашей сегодняшней жизни. И первые результаты можно обобщить так: современная жизнь грандиозна, избыточна и превосходит любую исторически известную. Но именно потому, что напор ее так велик, она вышла из берегов и смыла все завещанные нам устои, нормы и идеалы. В ней больше жизни, чем в любой другой, и по той же причине больше нерешенного*. Ей надо самой творить свою собственную судьбу.

Но диагноз пора дополнить. Жизнь — это прежде всего наша возможная жизнь, то, чем мы способны стать, и как выбор возможного — наше решение, то, чем мы действительно становимся. Обстоятельства и решения — главные слагаемые жизни. Обстоятельства, то есть возможности, нам заданы и навязаны. Мы называем их миром. Жизнь не выбирает себе мира, жить — это очутиться в мире определенном и бесповоротном, здесь и сейчас. Наш мир — это предрешенная сторона жизни. Но предрешенная не механически. Мы не пущены в мир, как пуля из ружья, по неукоснительной траектории. Неизбежность, с которой сталкивает нас этот мир — а мир всегда этот, здесь и сейчас, — состоит в обратном. Вместо единственной траектории нам задается множество, и мы, соответственно, обречены... выбирать себя. Немыслимая предпосылка! Жить — значит вечно быть

* Научимся, однако, извлекать из прошлого если не позитивный, то хотя бы негативный опыт. Прошлое не надоумит, что делать, но подскажет, чего избегать. — *Примеч. автора.*

осужденным на свободу, вечно решать, чем ты станешь в этом мире. И решать без усталости и без передышки. Даже отдаваясь безнадежно на волю случая, мы принимаем решение — не решать.

Неправда, что в жизни «решают обстоятельства». Напротив, обстоятельства — это дилемма, вечно новая, которую надо решать. И решает ее наш собственный склад.

Все это применимо и к общественной жизни. У нее, во-первых, тоже есть горизонт возможного и, во-вторых, решение в выборе совместного жизненного пути. Решение зависит от характера общества, его склада или, что одно и то же, от преобладающего типа людей. Сегодня преобладает масса, и решает она. И происходит нечто иное, чем в эпоху демократии и всеобщего голосования. При всеобщем голосовании массы не решали, а присоединялись к решению того или другого меньшинства. Последние предлагали свои «программы» — отличный термин. Эти программы — по сути, программы совместной жизни — приглашали массу одобрить проект решения.

Сейчас картина иная. Всюду, где торжество массы растет, например в Средиземноморье, при взгляде на общественную жизнь поражает то, что политически там перебиваются со дня на день. Это более чем странно. У власти — представители масс. Они настолько всемогущи, что свели на нет саму возможность оппозиции. Это бесспорные хозяева страны, и нелегко найти в истории пример подобного всевластия. И тем не менее государство, правительство живут сегодняшним днем. Они не распахнуты будущему, не представляют его ясно и открыто, не кладут начало чему-то новому, уже различимому в перспективе. Словом, они живут без жизненной программы. Не знают, куда идут, потому что не идут

никуда, не выбирая и не прокладывая дорог. Когда такое правительство ищет самооправданий, то не поминает всуе день завтрашний, а, напротив, упирает на сегодняшний и говорит с завидной прямоотой: «Мы — чрезвычайная власть, рожденная чрезвычайными обстоятельствами». То есть злобой дня, а не дальней перспективой. Недаром и само правление сводится к тому, чтобы постоянно выпутываться, не решая проблем, а всеми способами увиливая от них и тем самым рискуя сделать их неразрешимыми. Таким всегда было прямое правление массы — всемогущим и призрачным. Масса — это те, кто плывет по течению и лишен ориентиров. Поэтому массовый человек не созидает, даже если возможности и силы его огромны.

И как раз этот человеческий тип сегодня решает. Право же, стоит в нем разобраться.

Ключ к разгадке — в том вопросе, что прозвучал уже в начале моей работы: откуда возникли все эти толпы, захлестнувшие сегодня историческое пространство?

Не так давно известный экономист Вернер Зомбарт указал на один простой факт, который должен бы впечатлить каждого, кто озабочен современностью. Факт сам по себе достаточный, чтобы открыть нам глаза на сегодняшнюю Европу, по меньшей мере обратить их в нужную сторону. Дело в следующем: за многовековой период своей истории, с VI по XIX, европейское население ни разу не превысило ста восьмидесяти миллионов. А за время с 1800 по 1914 год — за столетие с небольшим — достигло четырехсот шестидесяти! Контраст, полагаю, не оставляет сомнений в плодovitости прошлого века. Три поколения подряд человеческая масса росла как на дрожжах и, хлынув, затопила тесный отрезок истории. Достаточно, повторяю, одного этого

факта, чтобы объяснить триумф масс и все, что он сулит. С другой стороны, это еще одно, и притом самое осязаемое, слагаемое того роста жизненной силы, о котором я упоминал.

Эта статистика, кстати, умеряет наше беспочвенное восхищение ростом молодых стран, особенно Соединенных Штатов. Кажется сверхъестественным, что население США за столетие достигло ста миллионов, а ведь куда сверхъестественней европейская плодовитость. Лишнее доказательство, что американизация Европы иллюзорна. Даже, казалось бы, самая характерная черта Америки — ускоренный темп ее заселения — не самобытна. Европа в прошлом веке заселялась куда быстрее. Америке создали европейские излишки.

Хотя выкладки Вернера Зомбарта и не так известны, как они того заслуживают, сам загадочный факт заметного прироста европейцев слишком очевиден, чтобы на нем задерживаться. Суть не в цифрах народонаселения, а в их контрастности, вскрывающей внезапный и головокружительный темп роста. Речь идет о нем. Головокружительный рост означает все новые и новые толпы, которые с таким ускорением извергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой.

И в результате современный средний европеец душевно здоровей и крепче своих предшественников, но и душевно беднее. Оттого он порой смахивает на дикаря, внезапно забредшего в мир вековой цивилизации. Школы, которыми так гордился прошлый век, внедрили в массу современные технические навыки, но не сумели воспитать ее. Снабдили ее средствами для того, чтобы жить полнее, но не смогли наделить ни историческим чутьем, ни чувством исторической ответственности. В

массу вдохнули силу и спесь современного прогресса, но забыли о духе. Естественно, она и не помышляет о духе, и новые поколения, желая править миром, смотрят на него как на первозданный рай, где нет ни давних следов, ни давних проблем.

Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век. Только так можно судить о нем беспристрастно и справедливо. Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай. Не усвоив и не переварив этого, смешно и легкомысленно отдавать предпочтение духу иных эпох. Вся история предстает гигантской лабораторией, где ставятся все мыслимые и немыслимые опыты, чтобы найти рецепт общественной жизни, наилучшей для культивации «человека». И, не прибегая к уверткам, следует признать данные опыта: человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса — двух основных факторов — за столетие утроил людские ресурсы Европы.

Такое изобилие, если мыслить здраво, приводит к ряду умозаключений: первое — либеральная демократия на базе технического творчества является высшей из доныне известных форм общественной жизни; второе — вероятно, это не лучшая форма, но лучшие возникнут на ее основе и сохранят ее суть, и третье — возвращение к формам низшим, чем в XIX веке, самоубийственно.

И вот, разом уяснив себе все эти вполне ясные вещи, мы должны предъявить XIX веку счет. Очевидно, наряду с чем-то небывалым и неповторимым имелись в нем и какие-то врожденные изъяны, коренные пороки, поскольку он создал новую касту людей — мятежную массу, и теперь она угрожает тем основам, которым обязана жизнью. Если этот человеческий тип будет по-прежнему

му хозяйничать в Европе и право решать останется за ним, то не пройдет и тридцати лет, как наш континент одичает. Наши правовые и технические достижения исчезнут с той же легкостью, с какой не раз исчезали секреты мастерства*. Жизнь съжится. Сегодняшний избыток возможностей обернется беспросветной нуждой, скаредностью, тоскливым бесплодием. Это будет неподдельный декаданс, потому что восстание масс и есть то самое, что Ратенау назвал «вертикальным вторжением варваров».

Поэтому так важно взглянуть в массового человека, в эту чистую потенцию как высшего блага, так и высшего зла.

VI

ВВЕДЕНИЕ В АНАТОМИЮ МАССОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Кто он, тот массовый человек, что главенствует сейчас в общественной жизни, политической и неполитической? Почему он таков, каков есть, иначе говоря, как он получился таким?

* Герман Вейль, один из крупнейших физиков современности, последователь и соратник Эйнштейна, говорил в частной беседе, что если бы определенные люди, десять или двенадцать человек, внезапно умерли, чудо современной физики оказалось бы навеки утраченным для человечества. Столетиями надо было приспособлять человеческий мозг к абстрактным головоломкам теоретической физики. И любая случайность может развеять эти чудесные способности, от которых зависит и вся техника будущего. — *Примеч. автора.*

Оба вопроса требуют совместного ответа, потому что взаимно проясняют друг друга. Человек, который намерен сегодня возглавлять европейскую жизнь, мало похож на тех, кто двигал девятнадцатый век, но именно девятнадцатым веком он рожден и вскормлен. Проницательный ум, будь то в 1820, 1850 или 1880 годах, простым рассуждением а priori мог предвосхитить тяжесть современной исторической ситуации. И в ней действительно нет ровным счетом ничего, не предугаданного сто лет назад. «Массы надвигаются!» — апокалиптически восклицал Гегель. «Без новой духовной власти наша эпоха — эпоха революционная — кончится катастрофой», — предрекал Огюст Конт. «Я вижу всемирный потоп нигилизма!» — кричал с энгадинских круч усатый Ницше. Неправда, что история непредсказуема. Сплошь и рядом пророчества сбывались. Если бы грядущее не оставляло бреши для предвидений, то и впредь, исполняясь и становясь прошлым, оно оставалось бы непонятным. В утверждении, что историк пророк наоборот, заключена вся философия истории. Конечно, можно провидеть лишь общий каркас будущего, но ведь и в настоящем или прошлом это единственное что, в сущности, доступно. Поэтому, чтобы видеть свое время, надо смотреть с расстояния. С какого? Достаточного, чтобы не различать носа Клеопатры.

Какой представлялась жизнь той человеческой массе, которую в изобилии плодил XIX век? Прежде всего и во всех отношениях — материально доступной. Никогда еще рядовой человек не утолял с таким размахом свои житейские запросы. По мере того как таяли крупные состояния и ужесточалась жизнь рабочих, экономичес-

кие перспективы среднего слоя становились день ото дня все шире. Каждый день вносил лепту в его жизненный standard*. С каждым днем росло чувство надежности и собственной независимости. То, что прежде считалось удачей и рождало смиренную признательность судьбе, стало правом, которое не благословляют, а требуют. С 1900 года и рабочий начинает ширить и упрочивать свою жизнь. Он, однако, должен за это бороться. Благодарение не уготовано ему заботливо, как среднему человеку, обществом и на диво слаженным государством.

Этой материальной доступности и обеспеченности сопутствует житейская — confort** и общественный порядок. Жизнь катится по надежным рельсам, и столкновение с чем-то враждебным и грозным мало представимо.

Столь ясная и распахнутая перспектива неминуемо должна копить в недрах обыденного сознания то ощущение жизни, которое метко выражено нашей старинной поговоркой: «Широка Кастилия!»*** А именно — во всех ее основных и решающих моментах жизнь представляется новому человеку лишенной преград. Это обстоятельство и его важность осознаются сами собой, если вспомнить, что прежде рядовой человек и не подозревал о такой жизненной раскрепощенности. Напротив, жизнь была для него тяжелой участью. Он с рождения ощущал ее как скопище преград, которые обречен терпеть, с которыми принужден смириться и втиснуться в отведенную ему щель.

Контраст еще отчетливей, если от материального перейти к аспекту гражданскому и моральному. С середи-

* Standard (англ.) — стандарт.

** Confort (фр.) — комфорт.

*** Ободряющее восклицание, отчасти схожее с русским: «Гуляй, душа!» — Примеч. пер.

ны прошлого века средний человек не видит перед собой никаких социальных барьеров. С рождения он и в общественной жизни не встречает рогаток и ограничений. Никто не принуждает его сужать свою жизнь. И здесь — «широка Кастилия». Не существует ни «сословий», ни «каст». Ни у кого нет гражданских привилегий. Средний человек усваивает как истину, что все люди узаконенно равны.

Никогда за всю историю человек не знал условий, даже отдаленно похожих на современные. Речь действительно идет о чем-то абсолютно новом, что внес в человеческую судьбу XIX век. Создано новое сценическое пространство для существования человека — новое и в материальном, и в социальном плане. Три начала сделали возможным этот новый мир: либеральная демократия, экспериментальная наука и промышленность. Два последних фактора можно объединить в одно понятие — техника. В этой триаде ничто не рождено XIX веком, но унаследовано от двух предыдущих столетий. Деятнадцатый век не изобрел, а внедрил, и в том его заслуга. Это прописная истина. Но одной ее мало, и надо вникнуть в ее неумолимые последствия.

Деятнадцатый век был революционным по сути. И суть не в живописности его баррикад — это всего лишь декорация, — а в том, что он поместил огромную массу общества в жизненные условия, прямо противоположные всему, с чем средний человек свыкся ранее. Короче, век перелицевал общественную жизнь. Революция — не покушение на порядок, но внедрение нового порядка, дискредитирующего привычный. И потому можно без особых преувеличений сказать, что человек, порожденный деятнадцатым столетием, социально стоит особняком в ряду предшественников. Разумеется, человечес-

кий тип восемнадцатого века отличен от преобладавшего в семнадцатом, а тот — от характерного для шестнадцатого века, но все они в конечном счете родственны, схожи и по сути даже одинаковы, если сопоставить их с нашим новоявленным современником. Для «плебея» всех времен «жизнь» означала прежде всего стеснение, повинность, зависимость, одним словом — угнетение. Еще короче — гнет, если не ограничивать его правовым и сословным, забывая о стихиях. Потому что их напор не слабел никогда, вплоть до прошлого века, с началом которого технический прогресс — материальный и управленческий — становится практически безграничным. Прежде даже для богатых и могущественных земля была миром нужды, тягот и риска*.

Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только не понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и ограничений, но, напротив, непрестанно берedit его аппетиты, которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир девятнадцатого и начала двадцатого века не просто демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает своим обитателям — и это крайне важно — полную уверенность, что завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще богаче, еще шире и совершенней. И по сей день, несмотря на признаки первых трещин в этой незыблемой вере, по сей день, повторяю, мало кто сомневается, что автомо-

* При любом относительном богатстве сфера благ и удобств, обеспеченных им, была крайне сужена всеобщей бедностью мира. Жизнь среднего человека сегодня много легче, изобильней и безопасней жизни могущественнейшего властителя иных времен. Какая разница, кто кого богаче, если богат мир и не скупится на автострады, магистрали, телеграфы, отели, личную безопасность и аспирин? — *Примеч. автора.*

били через пять лет будут лучше и дешевле, чем сегодня. Это так же непреложно, как завтрашний восход солнца. Сравнение, кстати, точное. Действительно, видя мир так великолепно устроенным и слаженным, человек заурядный полагает его делом рук самой природы и не в силах додуматься, что дело это требует усилий людей незаурядных. Еще трудней ему уразуметь, что все эти легко достижимые блага держатся на определенных и нелегко достижимых человеческих качествах, малейший недобор которых незамедлительно развеет прахом великолепное сооружение.

Пора уже наметить первыми двумя штрихами психологический рисунок сегодняшнего массового человека: эти две черты — беспрепятственный рост жизненных запросов и, следовательно, безудержная экспансия собственной природы и — второе — врожденная неблагодарность ко всему, что сумело облегчить ему жизнь. Обе черты рисуют весьма знакомый душевный склад — избалованного ребенка. И в общем можно уверенно прилагать их к массовой душе как оси координат. Наследница незапятнанного и гениального былого — гениального по своему вдохновению и дерзости, — современная чернь избалована окружением. Баловать — это значит потакать, поддерживать иллюзию, что все дозволено и ничто не обязательно. Ребенок в такой обстановке лишается понятий о своих пределах. Избавленный от любого давления извне, от любых столкновений с другими, он и впрямь начинает верить, что существует только он, и привыкает ни с кем не считаться, а главное — никого не считать лучше себя. Ощущение чужого превосходства вырабатывается лишь благодаря кому-то бо-

лее сильному, кто вынуждает сдерживать, умерять и подавлять желания. Так усваивается важнейший урок: «Здесь кончаюсь я и начинается другой, который может больше, чем я. В мире, очевидно, существуют двое: я и тот, другой, кто выше меня». Среднему человеку прошлого мир ежедневно преподавал эту простую мудрость, поскольку был настолько неслаженным, что бедствия не кончались и ничто не становилось надежным, обильным и устойчивым. Но для новой массы все возможно и даже гарантировано — и все наготове, без каких-либо предварительных усилий, как солнце, которое не надо тащить в зенит на собственных плечах. Ведь никто никого не благодарит за воздух, которым дышит, потому что воздух никем не изготовлен — он часть того, о чем говорится «это естественно», поскольку это есть и не может не быть. А избалованные массы достаточно малокультурны, чтобы всю эту материальную и социальную слаженность, безвозмездную, как воздух, тоже считать естественной, поскольку она, похоже, всегда есть и почти так же совершенна, как и природа.

Мне думается, сама искусность, с какой XIX век обустроил определенные сферы жизни, побуждает облагодетельствованную массу считать их устройство не искусственным, а естественным. Этим объясняется и определяется то абсурдное состояние духа, в котором пребывает масса: больше всего ее заботит собственное благополучие и меньше всего — истоки этого благополучия. Не видя в благах цивилизации ни изощренного замысла, ни искусного воплощения, для сохранности которого нужны огромные и бережные усилия, средний человек и для себя не видит иной обязанности, кроме как убежденно домогаться этих благ единственно по праву рождения. В дни голодных бунтов народные толпы обычно требуют

хлеба, а в поддержку требований, как правило, громят пекарни. Чем не символ того, как современные массы поступают — только размашистей и изобретательней — с той цивилизацией, что их питает*?

VII

ЖИЗНЬ ВЫСОКАЯ И НЕИЗМЕННАЯ, ИЛИ РВЕНИЕ И РУТИНА

Мы прежде всего то, что творит из нас мир, и главные свойства нашей души оттиснуты на ней окружением. Это неудивительно, ибо жить означает вживаться в мир. Общий дух, которым он встречает нас, передается нашей жизни. Именно поэтому я так настойчиво подчеркиваю, что ничего похожего на тот мир, которым вызваны к жизни современные массы, история еще не

* Для брошенной на собственный произвол массы, будь то чернь или «знать», жажда жизни неизменно оборачивается разрушением самих основ жизни. Бесподобным гротеском этой тяги — *propter vitam, vitae perdere causas* («ради жизни утратить смысл жизни», лат.) — мне кажется происшедшее в Нихаре, городке близ Альмерии, 13 сентября 1759 года, когда был провозглашен королем Карлос III. Торжество началось на площади: «Затем велено было угостить все собрание, каковое истребило 77 бочонков вина и четыре бурдюка водки и воодушевилось настолько, что со многими здравицами двинулось к муниципальному складу и там по-выбрасывало из окон весь хлебный запас и 900 реалов общинных денег. В лавках учинили то же самое, уничтожив, во славу праздника, все, что было там съестного и питейного. Духовенство не уступало рвением и громко призывало женщин выбрасывать на улицу все, что ни есть, и те трудились без малейшего сожаления, пока в домах не осталось ни хлеба, ни зерна, ни муки, ни крупы, ни мисок, ни кастрюль, ни ступок, ни пестов и весь сказанный город не опустел» (документ из собрания доктора Санчеса ле Тока, приведенный в книге Мануэля Даувила «Правление Карлоса III», том 2, с. 10, прим. 2). Сказанный город в угоду монархическому ажиотажу истребил себя. Блажен Нихар, ибо за ним будущее! — *Примеч. автора.*

знала. Если прежде для рядового человека жить означало терпеть лишения, опасности, запреты и гнет, то сегодня он чувствует себя уверенно и независимо в распахнутом мире практически безграничных возможностей. На этом неизменном чувстве, как некогда на противоположном, основан его душевный склад. Это ощущение главенствует, оно становится внутренним голосом, который из недр сознания невнятно, но непрестанно подсказывает формулу жизни и звучит императивом. И если прежде он привычно твердил: «Жить — это чувствовать себя стесненным и потому считаться с тем, что стесняет», — то теперь он торжествует: «Жить — это не чувствовать никаких ограничений и потому смело полагаться на себя; все практически дозволено, ничто не грозит расплатой, и вообще никто никого не выше».

Эта внушенная опытом вера целиком изменила привычный, вековой склад массового человека. Стесненность и зависимость ему всегда казались его природным состоянием. Такой, на его взгляд, была сама жизнь. Если удавалось улучшить свое положение, подняться вверх, он считал это подарком судьбы, которая лично к нему оказалась милостивой. Или приписывал это не столько удаче, сколько собственным невероятным усилиям, и хорошо помнил, чего они ему стоили. В любом случае речь шла об исключении из общего миропорядка, и каждое такое исключение объяснялось особыми причинами.

Но для новой массы природным состоянием стала полная свобода действий, узаконенная и беспричинная. Ничто внешнее не понуждает к самоограничению и, следовательно, не побуждает постоянно считаться с кем-то, особенно с кем-то высшим. Еще не так давно китайский крестьянин верил, что его благоденствие зависит

от тех сугубых достоинств, которыми изволит обладать император. И жизнь постоянно соотносилась с тем высшим, от чего она зависела. Но человек, о котором ведется речь, приучен не считаться ни с кем, помимо себя. Какой ни на есть, он доволен собой. И простодушно, без малейшего тщеславия, стремится утвердить и навязать себя — свои взгляды, вожеления, пристрастия, вкусы и все, что угодно. А почему бы и нет, если никто и ничто не вынуждает его увидеть собственную второсортность, узость и полную неспособность ни к созиданию, ни даже к сохранению уклада, давшего ему тот жизненный размах, который и позволил самообольщаться?

Массовый человек, верный своей природе, не станет считаться ни с чем, помимо себя, пока нужда не заставит. А так как сегодня она не заставляет, он и не считается, полагая себя хозяином жизни. Напротив, человек недюжинный, неповторимый внутренне нуждается в чем-то большем и высшем, чем он сам, постоянно сверяется с ним и служит ему по собственной воле. Вспомним, чем отличается избранный от заурядного человека — первый требует от себя многого, второй в восторге от себя и не требует ничего*! Вопреки ходячему мнению служение — удел избранных, а не массы. Жизнь тяготит их, если не служит чему-то высшему. Поэтому служение для них не гнет. И когда его нет, они томятся и находят новые высоты, еще недоступней и строже, чтобы верить им. Жизнь как испытание — это благородная жизнь. Благородство определяется требовательностью и долгом, а не правами. *Noblesse oblige***. «Жить как хочется — плебейство, благородны долг и верность» (Гете).

* Массовое мышление — это мышление тех, у кого на любой вопрос заранее готов ответ, что не составляет труда и вполне устраивает. Напротив, незаурядность избегает судить без предварительных умственных усилий и считает достойным себя только то, что еще недоступно и требует нового взлета мысли. — *Примеч. автора.*

** Положение (букв.: благородство) обязывает (*фр.*).

Привилегии изначально не жаловались, а завоевывались. И держались на том, что дворянин, если требовалось, мог в любую минуту отстоять их силой. Личные права — или *privilegios* — это не пассивное обретение, а взятый с бою рубеж. Напротив, всеобщие права — такие, как «права человека и гражданина» — обретаются по инерции, даром и за чужой счет, раздаются всем поровну и не требуют усилий, как не требуется их, чтобы дышать и находиться в здравом уме. Я бы сказал, что всеобщими правами владеют, а личными непрестанно завладевают.

Досадно, что в обыденной речи плачевно выродилось такое вдохновляющее понятие, как «знатность». Применяемое лишь к «наследственным аристократам», оно стало чем-то похожим на всеобщие права, инертным и безжизненным свойством, которое обретается и передается механически. Но ведь подлинное значение — *et esto* — понятия «благородство» целиком динамично. Знатный означает «знаменитый», известный всему свету, тот, кого известность и слава выделили из безымянной массы. Имеются в виду те исключительные усилия, которым обязана слава. Знатен тот, у кого больше сил и кто их не жалеет. Знатность и слава сына — это уже рента. Сын известен потому, что прославился отец. Его известность — отражение славы, и действительно наследственная знатность косвенна — это отблеск, лунный отсвет умершего благородства. И единственное, что живо, подлинно и действенно, — это стимул, который заставляет наследника держаться на высоте, достигнутой предками. Даже в этом искаженном виде, *noblesse oblige*. Предка обязывало собственное благородство, потомка обязывает унаследованное. Тем не менее в наследовании благородства есть явное противоречие. У более последовательных китайцев обратный порядок наследования, и не отец облагораживает сына, а сын, достигая знатнос-

ти, передает ее предкам, личным рвением возвышая свой скромный род. Поэтому степень знатности определяется числом поколений, на которые она распространяется, и кто-то, например, облагораживает лишь отца, а кто-то ширит свою славу до пятого или десятого колена. Предки воскресают в живом человеке и опираются на его действительное и действенное благородство — одним словом, на то, что есть, а не на то, что было*.

«Благородство» как четко обозначенное понятие возникает в Риме уже в эпоху Империи — и возникает именно как противовес родовой знати, отчетливо вырождающейся.

Для меня «благородство» — синоним жизни окрыленной, призванной перерастить себя и вечно устремленной от того, чем она становится, к тому, чем должна стать. Словом, благородная жизнь полярна жизни низкой, то есть инертной, закупоренной, осужденной на саму себя, ибо ничто не побуждает ее разомкнуть свои пределы. И людей, живущих инертно, мы называем массой не за их многочисленность, а за их инертность.

Чем дольше существуешь, тем тягостней убеждаться, что большинству не доступно никакое усилие, кроме вынужденной реакции на внешнюю необходимость. Поэтому так редки на нашем пути и так памяты те немногие, словно изваянные в нашем сознании, кто оказался способен на самопроизвольное и щедрое усилие. Это избранные, нобили, единственные, кто зовет, а не просто отзывается, кто живет жизнью напряженной и неустанно упражняется в этом. Упражнение — *askesis*. Они аскеты**.

* Поскольку речь идет лишь о том, чтобы вернуть понятию «благородство» его изначальный смысл, исключаящий наследование, не вижу необходимости углубляться в такое исторически знакомое понятие, как «благородная кровь». — *Примеч. автора.*

** См.: *El origen deportivo del Estado // El Espectador. VII. 1930. — Примеч. автора.*

Может показаться, что я отвлекся. Но для того чтобы определить новый тип массового человека, который остался массовым и метит в избранные, надо было раздельно, в чистом виде, противопоставить ему два смешанных в нем начала — исконную массовость и врожденную или достигнутую элитарность.

Теперь дело двинется быстрее, поскольку найдено если не решение, то искомое уравнение. И ключ к господствующему сегодня психологическому складу, мне кажется, у нас в руках. Все дальнейшее вытекает из основной предпосылки, которая сводится к следующему: XIX век, обновив мир, создал тем самым новый тип человека, наделив его ненасытными потребностями и могучими средствами для их удовлетворения — материальными, медицинскими (небывалыми по своей массовости и действенности), правовыми и техническими (имеется в виду та масса специальных знаний и практических навыков, о которой прежде рядовой человек не мог и мечтать). Наделив его всей этой мощью, XIX век предоставил его самому себе, и средний человек, верный своей природной неподатливости, наглухо замкнулся. В итоге сегодня масса сильнее, чем когда-либо, но при этом непробиваема, самонадеянна и не способна считаться ни с кем и ни с чем — словом, неуправляема. Если так пойдет и дальше, то в Европе — и, следовательно, во всем мире — любое руководство станет невозможным. В трудную минуту, одну из тех, что ждут нас впереди, встревоженные массы, быть может, и проявят добрую волю, изъявив готовность в каких-то частных и безотлагательных вопросах подчиниться меньшинству. Но благие намерения потерпят крах. Ибо коренные свойства массовой души — это косность и нечувствительность, и потому масса природно не способна понять что-либо выходящее за ее пределы, будь то события или люди. Она захочет

следовать кому-то — и не сумеет. Захочет слушать — и убедится, что оглохла.

С другой стороны, напрасно надеяться, что реальный средний человек, как бы ни был сегодня высок его жизненный уровень, сумеет управлять ходом цивилизации. Именно ходом — я уж не говорю о росте. Даже просто поддерживать уровень современной цивилизации непомерно трудно, и дело это требует бесчисленных ухищрений. Оно не по плечу тем, кто научился пользоваться некоторыми инструментами цивилизации, но ни слухом ни духом не знает о ее основах.

Еще раз прошу тех, у кого хватило терпения одолеть вышесказанное, не истолковывать его в сугубо политическом смысле. Политика — самая действенная и наглядная сторона общественной жизни, но она вторична и обусловлена причинами потаенными и неосязаемыми. И политическая косность не была бы так тяжка, если бы не проистекала из более глубокой и существенной косности — интеллектуальной и нравственной. Поэтому без анализа последней исследуемый вопрос не прояснится.

VIII

ПОЧЕМУ МАССЫ ВТОРГАЮТСЯ ВСЮДУ, ВО ВСЕ И ВСЕГДА НЕ ИНАЧЕ КАК НАСИЛИЕМ

Начну с того, что выглядит крайне парадоксальным, а в действительности проще простого: когда для заурядного человека мир и жизнь распахнулись настезь, душа

его для них закрылась наглухо. И я утверждаю, что эта закупорка заурадных душ и породила то возмущение масс, которое становится серьезной проблемой для человечества.

Естественно, что многие думают иначе. Это в порядке вещей и только подтверждает мою мысль. Будь даже мой взгляд на этот сложный предмет целиком неверным, верно то, что многие из оппонентов не размышляли над ним и пяти минут. Могут ли они думать, как я? Но непреложное право на собственный взгляд без каких-либо предварительных усилий его выработать как раз и свидетельствует о том абсурдном состоянии человека, которое я называю «массовым возмущением». Это и есть герметизм, закупорка души. В данном случае — герметизм сознания. Человек обзавелся кругом понятий. Он полагает их достаточными и считает себя духовно завершенным. И, ни в чем извне нужды не чувствуя, окончательно замыкается в этом кругу. Таков механизм закупорки.

Массовый человек ощущает себя совершенным. Человеку незаурадному для этого требуется незаурадное самомнение, наивная вера в собственное совершенство у него не органична, а внушена тщеславием и остается мнимой, притворной и сомнительной для самого себя. Поэтому самонадеянному так нужны другие, те, кто подтвердил бы его домыслы о себе. И даже в этом клиническом случае, даже «ослепленный» тщеславием, достойный человек не в силах ощутить себя завершенным. Напротив, сегодняшней заурадности, этому новому Адаму, и в голову не взбрет усомниться в собственной избыточности. Самосознание у него поистине райское. Природный душевный герметизм лишает его главного условия, необходимого, чтобы ощутить свою неполно-

ту, — возможности сопоставить себя с другим. Сопоставить означало бы на миг отрешиться от себя и вселиться в ближнего. Но заурядная душа не способна к перевоплощению — для нее, увы, это высший пилотаж.

Словом, та же вечная разница, что между тупым и смышленным. Один замечает, что он на краю неминуемой глупости, силится отпрянуть, избежать ее и своим усилием укрепляет разум. Другой ничего не замечает: для себя он — само благоразумие, и отсюда та завидная безмятежность, с какой он погружается в собственный идиотизм. Подобно тем моллюскам, которых не удастся извлечь из раковины, глупого невозможно выманить из его глупости, вытолкнуть наружу, заставить на миг оглядеться по ту сторону своих катаракт и сличить свою привычную подслеповатость с остротой зрения других. Он глуп пожизненно и прочно. Недаром Анатолий Франс говорил, что дурак пагубней злодея. Поскольку злодей хотя бы иногда делает передышку*.

Речь не о том, что массовый человек глуп. Напротив, сегодня его умственные способности и возможности шире, чем когда-либо. Но это не идет ему впрок: на деле смутное ощущение своих возможностей лишь побуждает его закупориться и не пользоваться ими. Раз и навсегда освящает он ту мешанину прописных истин, несвязных мыслей и просто словесного мусора, что скопилась в нем по воле случая, и навязывает ее везде и всюду, действуя по простоте душевной, а потому без страха и упрека. Именно об этом и говорил я в первой главе: специфика нашего времени не в том, что посредствен-

* Я не раз задавался таким вопросом. Испокон веков для многих людей самым мучительным в жизни было, несомненно, столкновение с глупостью ближних. Почему же в таком случае никогда не пытались изучать ее, не было, насколько мне известно, ни одного исследования? — *Примеч. автора.*

ность полагает себя незаурядной, а в том, что она провозглашает и утверждает свое право на пошлость, или, другими словами, утверждает пошлость как право.

Тирания интеллектуальной пошлости в общественной жизни, быть может, самобытнейшая черта современности, наименее сопоставимая с прошлым. Прежде в европейской истории чернь никогда не заблуждалась насчет собственных «идей» касательно чего бы то ни было. Она наследовала верования, обычаи, житейский опыт, умственные навыки, пословицы и поговорки, но не присваивала себе умозрительных суждений — например, о политике или искусстве — и не определяла, что они такое и чем должны стать. Она одобряла или осуждала то, что задумывал и осуществлял политик, поддерживала или лишала его поддержки, но действия ее сводились к отклику, сочувственному или наоборот, на творческую волю другого. Никогда ей не взбрело в голову ни противопоставлять «идеям» политика свои, ни даже судить их, опираясь на некий свод «идей», признанных своими. Так же обстояло с искусством и другими областями общественной жизни. Врожденное сознание своей узости, неподготовленности к теоретизированию* воздвигало глухую стену. Отсюда само собой следовало, что плебей не решался даже отдаленно участвовать почти ни в какой общественной жизни, по большей части всегда концептуальной.

Сегодня, напротив, у среднего человека самые неукоснительные представления обо всем, что творится и должно твориться во Вселенной. Поэтому он разучился слушать. Зачем, если все ответы он находит в самом себе? Нет никакого смысла выслушивать и, напротив, куда ес-

* Это не подмена понятий: выносить суждение означает теоретизировать. — *Примеч. автора.*

тественней судить, решать, изрекать приговор. Не осталось такой общественной проблемы, куда бы он не вступал, повсюду оставаясь глухим и слепым и всюду навязывая свои «взгляды».

Но разве это не достижение? Разве не величайший прогресс то, что массы обзавелись «идеями», то есть культурой? Никоим образом. Потому что «идеи» массового человека таковыми не являются и культурой он не обзавелся. Идея — это шаг истине. Кто жаждет идей, должен прежде них домогаться истины и принимать те правила игры, которых она требует. Бессмысленно говорить об идеях и взглядах, не признавая системы, в которой они выверяются, свода правил, к которым можно апеллировать в споре. Эти правила — основы культуры. Не важно, какие именно. Важно, что культуры нет, если нет устоев, на которые можно опереться. Культуры нет, если к любым, даже крайним взглядам нет уважения, на которое можно рассчитывать в полемике*. Культуры нет, если экономические связи не руководствуются торговым правом, способным их защитить. Культуры нет, если эстетические споры не ставят целью оправдать искусство.

Если всего этого нет, то нет и культуры, а есть, в самом прямом и точном смысле слова, варварство. Именно его — не будем обманываться — и утверждает в Европе растущее вторжение масс. Путник, попадая в варварский край, знает, что не найдет там законов, к которым мог бы воззвать. Не существует собственно варварских порядков. У варваров их попросту нет и взывать не к чему.

* Кто в споре не доискивается правды и не стремится быть правдивым, тот интеллектуально варвар. В сущности, так и обстоит с массовым человеком, когда он говорит, вещает или пишет. — *Примеч. автора.*

Мерой культуры служит четкость установлений. При малой разработанности они упорядочивают лишь *grosso modo**; и чем отделанней они, тем подробней выверяют любой вид деятельности. Скудость испанской интеллектуальной культуры не в большей или меньшей нехватке знаний, а в той привычной бесшабашности, с какой говорят и пишут, не слишком заботливо сверяясь с истиной. Словом, беда не в большей или меньшей неистинности — истина не в нашей власти, — а в большей или меньшей недобросовестности, которая мешает выполнять несложные и необходимые для истины условия. В нас неискореним тот деревенский попик, что победно громит манихеев, так и не позаботясь уяснить, о чем же они, собственно, толкуют.

Всеми признано, что в Европе с некоторых пор творятся «диковинные вещи». В качестве примера назову две — синдикализм и фашизм. И диковинность их отнюдь не в новизне. Страсть к обновлению в европейцах настолько неистребима, что сделала их историю самой беспокойной в мире. Следовательно, удивляет в упомянутых политических течениях не то, что в них нового, а знак качества этой новизны, доселе невиданный. Под маркой синдикализма и фашизма впервые возникает в Европе тип человека, который не желает ни признавать, ни доказывать правоту, а намерен просто-напросто навязать свою волю. Вот что внове — право не быть правым, право на произвол. Я считаю это самым наглядным проявлением нового поведения масс, исполненных решимости управлять обществом при полной к тому неспособности. Политическая позиция предельно грубо и неприкрыто выявляет новый душевный склад, но коренится она в интеллектуальном герметизме. Массовый

* в общих чертах, в целом (*um.*).

человек обнаруживает в себе ряд «представлений», но лишен самой способности «представлять». И даже не подзревает, каков он, тот хрупкий мир, в котором живут идеи. Он хочет высказаться, но отвергает условия и предпосылки любого высказывания. И в итоге его «идеи» не что иное, как словесные вожделения наподобие жестоких романсов.

Выдвигать идею — означает верить, что она разумна и справедлива, а тем самым верить в разум и справедливость, в мир умопостигаемых истин. Суждение и есть обращение к этой инстанции, признание ее устава, подчинение ее законам и приговорам, а значит, и убеждение, что лучшая форма сосуществования — диалог, где столкновение доводов выверяет правоту наших идей. Но массовый человек, втянутый в обсуждение, теряется, инстинктивно противится этой высшей инстанции и необходимости уважать то, что выходит за его пределы. Отсюда и последняя «новинка» — оглушивший Европу лозунг «Хватит дискутировать», — и ненависть к любому сосуществованию, по своей природе объективно упорядоченному, от разговора до парламента, не говоря о науке. Иными словами, отказ от сосуществования культурного, то есть упорядоченного, и откат к варварскому. Душевный герметизм, толкающий массу, как уже говорилось, вторгаться во все сферы общественной жизни, неизбежно оставляет ей единственный путь для вторжения — прямое действие.

Обращаясь к истокам нашего века, когда-нибудь отметят, что первые ноты его сквозной мелодии прозвучали на рубеже столетий среди тех французских синдикалистов и роялистов, кто придумал термин «прямое действие» вкуче с его содержанием. Человек постоянно прибегал к насилию. Оставим в стороне просто пре-

ступления. Но ведь нередко к насилию прибегают, исчерпав все средства в надежде образумить, отстоять то, что кажется справедливым. Печально, конечно, что жизнь раз за разом вынуждает человека к такому насилию, но бесспорно также, что оно — дань разуму и справедливости. Ведь и само это насилие не что иное, как ожесточенный разум. И сила действительно лишь его последний довод. Есть обыкновение произносить *ultima ratio** иронически, обыкновение довольно глупое, поскольку смысл этого выражения — в заведомом подчинении силы разумным нормам. Цивилизация и есть опыт обуздания силы, сведение ее роли к *ultima ratio*. Слишком хорошо мы видим это теперь, когда «прямое действие» опрокидывает порядок вещей и утверждает силу как *prima ratio*** , а в действительности — как единственный довод. Это она становится законом, который намерен упразднить остальные и впрямую диктовать свою волю. Это *Charta Magna**** одичания.

Нелишне вспомнить, что, когда бы и из каких бы побуждений ни вторгалась масса в общественную жизнь, она всегда прибегала к «прямому действию». Видимо, это ее природный способ действовать. И самое веское подтверждение моей мысли — тот очевидный факт, что теперь, когда диктат массы из эпизодического и случайного превратился в повседневный, «прямое действие» стало правилом.

Все человеческие связи подчинились этому новому порядку, упразднившему «непрямые» формы сосуществования. В человеческом общении упраздняется «воспитанность». Словесность как «прямое действие» обраща-

* последний довод (лат.).

** первый довод (лат.).

*** Великая Хартия (лат.).

ется в ругань. Сексуальные отношения утрачивают свою многогранность.

Грани, нормы, этикет, законы писанные и неписанные, право, справедливость! Откуда они, зачем такая усложненность? Все это сфокусировано в слове «цивилизация», корень которого — *civis*, гражданин, то есть горожанин — указывает на происхождение смысла. И смысл всего этого — сделать возможным город, сообщество, сосуществование. Потому, если взглянуть в перечисленные мной средства цивилизации, суть окажется одна. Все они в итоге предполагают глубокое и сознательное желание каждого считаться с остальными. Цивилизация — это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. Одичание — процесс разобщения. И действительно, периоды варварства, все до единого, — это время распада, кишение крохотных группировок, разединенных и враждующих.

Высшая политическая воля к сосуществованию воплощена в либеральной демократии. Это первообраз «непрямого действия», доведший до предела стремление считаться с ближним. Либерализм — правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всемогущей она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пустоты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм — и сегодня стоит об этом помнить — предел великодушия; это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на Земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и — мало того — врагом слабейшим. Трудно было ждать, что род человеческий решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько тонкий, настолько акробатический, на-

столько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым и не легким, чтобы утвердиться на Земле.

Уживаться с врагом! Ладить с оппозицией! Не кажется ли уже непонятной подобная покладистость? Ничто не отразило современность так беспощадно, как то, что все меньше остается стран, где есть оппозиция. Повсюду аморфная масса давит на государственную власть и подминает, топчет малейшие ростки оппозиционности. Масса — кто бы подумал при виде ее однородной скученности! — не желает уживаться ни с кем, кроме себя. Все, что не масса, она ненавидит смертно.

IX

ОДИЧАНИЕ И ТЕХНИКА

Крайне важно помнить, что положение дел в современном мире само по себе двусмысленно. Именно поэтому я изначально внушал, что любое явление современности — и особенно восстание масс — подобно водоразделу. Каждое из них не только может, но и должно толковаться двояко, в хорошем и плохом смысле. Эта двойственность коренится не в нашей оценке, а в самой действительности. Причина не в том, что под разным углом зрения современная обстановка может казаться хорошей или плохой, а в том, что сама она таит двоякую возможность победы или гибели.

Я не собираюсь подкреплять это исследование всей метафизикой истории. Но строится оно, конечно, на

фундаменте моих философских убеждений, изложенных или намеченных ранее. Я не верю в абсолютную историческую неизбежность. Напротив, я думаю, что жизнь, и в том числе историческая, складывается из множества мгновений, относительно независимых и непредрешенных, и каждый миг действительность колеблется, *piétine sur place**, словно выбирая ту или иную возможность. Эти метафизические колебания и придают всему живому неповторимый трепет и ритм.

Восстание масс в итоге может открыть путь к новой и небывалой организации человечества, но может привести и к катастрофе. Нет оснований отрицать достигнутый прогресс, но следует оспаривать веру в его надежность. Реалистичней думать, что не бывает надежного прогресса, нет такого развития, которому не грозили бы упадок и вырождение. В истории все осуществимо, все что угодно — и непрерывный подъем, и постоянные откаты. Ибо жизнь, одиночная или общественная, частная или историческая, — это единственное в мире, что нерасторжимо с опасностью. Она складывается из превратностей. Строго говоря, это драма**.

С наибольшей силой эта общая истина проступает в такие «критические моменты», как наш. И новые пове-

* топчется на месте (*фр.*).

** Не приходится думать, что кто-либо примет мои слова всерьез — в лучшем случае их просто сочтут метафорой, более или менее удачной. Лишь человек слишком бесхитростный, чтобы уверовать, будто знает окончательно, в чем состоит жизнь или хотя бы в чем она не состоит, воспримет прямой смысл этих слов и — верны они там или нет — единственный поймет их. Остальные будут на редкость единодушны и разойдутся лишь в одном — считать ли жизнь, говоря серьезно, бытием души или же чередой химических реакций. Не знаю, убедит ли настолько закоснелых читателей моя позиция, которая сводится к тому, что исконное и глубинное значение слова «жизнь» открывается при биографическом, а не при биологическом подходе. Это веско подтверждается тем, что в иной биографии все биологическое не больше чем глава. Биология вписывает лишь пару страниц, и все добавления к ним — абстракция, фантазия и миф. — *Примеч. автора.*

денческие черты, рожденные господством масс и обобщенные нами в понятии «прямое действие», могут предвещать и будущее благо. Понятно, что всякая старая культура тащит за собой немалый груз изношенного и окостенелого, те остаточные продукты сгорания, что отравляют жизнь. Это мертвые установления, устарелые авторитеты и ценности, неоправданные сложности, ставшие беспочвенными устои. Все эти звенья непрямого действия — цивилизации — со временем нуждаются в безоглядном и безжалостном упрощении. Романтические редингот и пластрон настигает возмездие в виде теперешнего *deshabille** и распахнутого ворота. Это решение в пользу здоровья и хорошего вкуса — лучшее решение, ибо меньшими средствами достигает большего. Кущи романтической любви тоже потребовали садовых ножниц, чтобы избавиться от искусственных магнолий, в избытке прицепленных к веткам, и удушливых лиан, плющей и прочих хитросплетений, загородивших солнце.

Общественной жизни в целом и политической в особенности не обойтись без возврата к естеству, и Европе не сделать того упругого, уверенного рывка, к которому призывают оптимисты, если она не обернется собой, голой сутью, скинувшей старье. Я радуюсь этому искусству наготы и неподдельности, вижу в нем залог достойного будущего и в отношении прошлого стою за полную духовную независимость. Главенствовать должно будущее, и лишь оно диктует, как поступать с былым**.

* Здесь: простого и вольного стиля одежды (*фр.*).

** Эта свобода действий в отношении прошлого — не скоропалительный бунт, а сознательный долг любого «переломного» времени. Если я защищаю либерализм XIX века от развязности массовых нападок, это не значит, что я поступаю независимостью по отношению к самому либерализму. И другой, противоположный пример: одичание, которое в этой работе представлено с его наихудшей стороны, в определенном смысле является предпосылкой любого крупного исторического скачка — См. об этом в моем недавнем труде «Биология и педагогика» (гл. III, «Парадокс варварства»). — *Примеч. автора.*

Но следует избегать тяжелейшего греха корифеев XIX века — притупленного чувства ответственности, которое вело их к утрате тревоги и бдительности. Отдаваться течению событий, полагаясь на попутный ветер, и не улавливать малейших признаков опасности и ненастья, когда день еще ясен, — это и есть утрата ответственности. Сегодня чувство ответственности надо возбуждать и будоражить в тех, у кого оно сохранилось, и пристальность к угрожающим симптомам современности представляется делом первостепенным.

Бесспорно, диагноз нашей общественной жизни куда больше тревожит, чем обнадеживает, особенно если исходить не из сиюминутного состояния, а из того, к чему оно ведет.

Тот очевидный взлет, который испытала жизнь, рискует оборваться в столкновении с самой грозной проблемой, вторгшейся в европейскую судьбу. Еще раз ее сформулирую: власть в обществе захватил новый тип человека, равнодушный к основам цивилизации. И не той или этой, а любой, насколько сегодня можно судить. Он отчетливо равнодушен к пилюлям, автомобилям и чему-то еще. Но это лишь подтверждает его глубокое равнодушие к цивилизации. Все перечисленное — ее плоды, и всепоглощающая тяга к ним как раз и подчеркивает полное равнодушие к корням. Достаточно одного примера. С тех пор как существуют *nuove scienze** — естественные науки, — то есть начиная с Возрождения, увлеченность ими непрерывно возрастала, а именно: число людей, посвятивших себя исследованиям, пропорционально росло с каждым новым поколением. Впервые оно упало в том поколении, которому сегодня по-

* новые науки (*ит.*).

шел третий десяток. Лаборатории чистой науки теряют притягательность и заодно учеников. И происходит это в те дни, когда техника достигла расцвета, а люди наперебой спешат воспользоваться препаратами и аппаратами, созданными научным знанием.

Рискуя надоесть, нетрудно было бы выявить подобную же несообразность в искусстве, политике, морали, религии и просто в повседневной жизни.

Что знаменует такая парадоксальная картина? Ответ на это я и пытаюсь дать в моей работе. Такая парадоксальность означает, что в мире сегодня господствует ди-карь, *Naturmensch**, внезапно всплывший со дна цивилизации. Цивилизован мир, но не его обитатель — он даже не замечает этой цивилизованности и просто пользуется ею, как дарами природы. Ему хочется автомобиль, и он утоляет желание, полагая, что автомобиль этот свалился с райского древа. В душе он не догадывается об искусственной, почти неправдоподобной природе цивилизации, и его восхищение техникой отнюдь не простирается на те основы, которым он обязан этой техникой. Приведенные выше слова Ратенау о «вертикальном вторжении варваров» можно было счесть — и обычно считают — просто «фразой». Но теперь ясно, что слова эти, верны они или нет, в любом случае не просто «фраза», а напротив — рожденная кропотливым анализом точная формулировка. На древние подмостки цивилизации прокрался из-за кулис массовый, а в действительности — первобытный человек.

Ежечасно твердят о небывалом техническом прогрессе, но то, что его будущее достаточно драматично, не осознается никем, даже самыми лучшими. Глубокий и проницательный, при всей его маниакальности, Шпен-

* Первобытный человек (нем.).

глер — и тот представляется мне чрезмерным оптимистом. Он убежден, что на смену «культуре» приходит «цивилизация», под которой он понимает прежде всего технику. Представления Шпенглера о «культуре» и вообще об истории настолько далеки от моих, что мне трудно даже опровергать его выводы. Лишь перескочив эту пропасть, можно привести оба воззрения к общему знаменателю и тем установить расхождение. Шпенглер верит, что техника способна существовать и после того, как угаснет интерес к основам культуры, — я же в это поверить не решаюсь. В основе техники — знание, а знание существует, пока оно захватывает само по себе, в чистом виде, и не способно захватить, если люди не захвачены существом культуры. Когда этот пыл гаснет — что сейчас, видимо, и происходит, — техника движется лишь силой инерции, которую сообщил ей ненадолго импульс культуры. С техникой сжился, но не техникой жив человек. Сама она не может жить и питаться собой, это не *causa sui**, а полезный, прикладной отстой бесполезных и бескорыстных усилий**.

Словом, надо помнить, что современный интерес к технике еще не гарантирует — или уже не гарантирует — ни ее развития, ни даже сохранения. Техницизм не зря считается одним из атрибутов «современной культуры», то есть культуры, которая вбирает лишь те знания, что приносят материальную пользу. Потому-то, рисуя новые черты, обретенные жизнью в XIX веке, я сосредото-

* сама себе причина (*лат.*).

** Поэтому, на мой взгляд, пустое дело — судить об Америке по ее «технике». Вообще одно из самых глубоких помрачений европейского сознания — это детский взгляд на Америку, присущий и самым образованным европейцам. Это частный случай того, с чем мы не раз еще столкнемся, — несоответствия между сложностью современных проблем и уровнем мышления. — *Примеч. автора.*

чился на двух — либеральной демократии и технике*. Но меня, повторяю, пугает та легкость, с которой забывают, что душа техники — чистая наука, и что их развитие обусловлено одним и тем же. Никто не задумывался, чем должна жить душа, чтобы в мире жили подлинные «люди науки»? Или вы всерьез верите, что, пока есть доллары, будет и наука? Это соображение, для многих успокоительное, — лишний признак одичания.

Чего стоит одно только количество компонентов, таких разнородных, которые потребовалось собрать и перемешать, чтобы получить коктейль физико-химических дисциплин! Даже при беглом и поверхностном взгляде бросается в глаза, что на всем временном и пространственном протяжении физическая химия возникла и смогла утвердиться лишь в тесном квадрате между Лондоном, Берлином, Веной и Парижем. И лишь в XIX веке. Из этого видно, что экспериментальное знание — одно из самых немислимых явлений истории. Колдуны, жрецы, воины и пастухи кишели где угодно и когда угодно. Но такая человеческая порода, как ученые-экспериментаторы, очевидно, требует невиданных условий, и ее возникновение куда сверхъестественней, чем явление единорога. Эти скупые факты должны бы вразумить нас, насколько зыбко и мимолетно научное вдохновение**. Блажен, кто верует, что с исчезновением Европы североамериканцы могли бы продолжать науку!

Следовало бы углубиться в это и скрупулезно выявить, каковы исторические и жизненные предпосылки

* Строго говоря, либеральная демократия и техника так тесно связаны и переплетены, что немислимы одна без другой, и хотелось бы найти какое-то третье, всеобъемлющее понятие, которое стало бы наименованием XIX века, его именем нарицательным. — *Примеч. автора.*

** Не буду углубляться. Большинство ученых сами еще не подозревают об опасности того скрытого кризиса, который переживает сегодня наука. — *Примеч. автора.*

экспериментального знания, а значит — и техники. Но и самый исчерпывающий вывод вряд ли пройдет массового человека. Он верит доводам желудка, а не разума.

Я разуверился в пользе подобных проповедей, слабость которых — в их разумности. Не абсурдно ли, что сегодня рядовой человек не чувствует сам, без посторонних наставлений, жгучего интереса к упомянутым наукам и родственной им биологии? Ведь современное состояние культуры таково, что все ее звенья — политика, искусство, общественные устои, даже нравственность — становятся день ото дня смутнее, кроме того единственного, что ежечасно, с неоспоримой наглядностью, способной пронять массового человека, подтверждает свою результативность, а именно экспериментальной науки. Что ни день, то новое изобретение, которым пользуются все. Что ни день, то новое болеутоляющее либо профилактическое средство, которым пользуют тоже все. И всякому ясно, что если, в надежде на постоянство научного вдохновения, утроить или удесятерить число лабораторий, соответственно возрастут сами собой богатства, удобства, благополучие и здоровье. Есть ли что сильнее и убедительней этих жизненных доводов? Почему же тем не менее массы не обнаруживают ни малейшего поползновения жертвовать деньги, чтобы материально и морально поддержать науку? Совершенно напротив, послевоенное время сделало ученых настоящими париями. И подчеркиваю: не философов, а физиков, химиков, биологов. Философия не нуждается ни в покровительстве, ни в симпатиях массы. Она заботится, чтобы в ее облике не возникло ничего утилитарного*, и тем полностью освобождается от власти массового мышления. Она по сути своей проблематична, сама для себя загадочна и

* См.: Аристотель. Метафизика, 893–910. — *Примеч. автора.*

рада своей вольной участи птиц небесных. Нет нужды, чтобы с ней считались, ей незачем навязывать или отстаивать себя. И если кто-то извлекает из нее пользу, она по-человечески рада за него, но живет не за счет чьей-то выгоды и не в расчете на нее. Да и как ей претендовать на серьезное отношение, если начинает она с сомнений в собственном существовании и живет лишь тем, что борется с собой не на жизнь, а на смерть? Однако оставим философию, это разговор особый.

Но экспериментальное знание в массах нуждается, как и массы нуждаются в нем под страхом смерти, ибо без физической химии планета уже не в силах прокормить их.

Какие доводы убедят тех, кого не убеждают вожденный автомобиль и чудотворные инъекции пантопона? Несоответствие между тем явным и прочным благоденствием, которое наука дарит, и тем отношением, которым ей платят, таково, что нельзя больше обманываться пустыми надеждами и ждать чего-либо иного, кроме всеобщего одичания. Тем более что нигде равнодушие к науке не проступает, в чем мы не раз убедимся, с такой отчетливостью, как среди самих специалистов — медиков, инженеров и т.д., — которые привыкли делать свое дело с таким же душевным настроением, с каким водят автомобиль или принимают аспирин, — без малейшей внутренней связи с судьбами науки и цивилизации.

Вероятно, кого-то пугают иные признаки воскресшего варварства, которые выражены действием, а не бездеятельностью, сильнее бросаются в глаза и потому у всех на виду. Но для меня самый тревожный признак — именно это несоответствие между теми благами, кото-

рые рядовой человек получает от науки, и его отношением к ней, то есть бесчувственностью*. Это неадекватное поведение понятней, если вспомнить, что негры в африканской глуши тоже водят автомобили и глотают аспирин. Те люди, что готовы завладеть Европой — такова моя гипотеза, — это варвары, которые хлынули из люка на подмостки сложной цивилизации, их породившей. Это — «вертикальное одичание» во плоти.

Х

ОДИЧАНИЕ И ИСТОРИЯ

Природа всегда налицо. Она сама себе опора. В диком лесу можно безбоязненно дикарствовать. Можно и навек одичать, если душе угодно и если не помешают иные пришельцы, не столь дикие. В принципе, целые народы могут вечно оставаться первобытными. И остаются. Брейзиг назвал их «народами бесконечного рассвета», потому что они навсегда застряли в неподвижных, мерзлых сумерках, которые не растопить никакому полдню.

Все это возможно в мире полностью природном. Но не полностью цивилизованном, подобно нашему. Цивилизация — не данность и не держится сама собой.

* Такая противоположность удесятерится тем, что все остальные жизненные устои — политика, право, искусство, мораль, религия — по своей действительности, да и сами по себе переживают, как уже отмечалось, кризис или по меньшей мере временный упадок. Одна наука не потерпела крах и, что ни день, со сказочной быстротой исполняет обещанное и сверх обещанного. Словом, она вне конкуренции, и пренебрежение к ней нельзя извинить, даже если заподозрить в массовом человеке пристрастие к иным областям культуры. — *Примеч. автора.*

Она искусственна и требует искусства и мастерства. Если вам по вкусу ее блага, но лень заботиться о ней... плохи ваши дела. Не успеете моргнуть, как окажетесь без цивилизации. Малейший недосмотр — и все вокруг улетучится в два счета! Словно спадут покровы с нагой Природы и вновь, как изначально, предстанут первобытные дебри. Дебри всегда первобытны, и наоборот. Все первобытное — это дебри.

Романтики были поголовно помешаны на сценах насилия, где низшее, природное и дочеловеческое, попирало человеческую белизну женского тела, и вечно рисовали Леду с распаленным лебедем, Пасифаю с быком, настигнутую козлом Антиопу. Но еще более утонченным садизмом их привлекали руины, где окультуренные, граненые камни меркли в объятиях дикой зелени. Завидя строение, истый романтик прежде всего искал глазами желтый мох на кровле. Блеклые пятна возвещали, что все — только прах, из которого поднимутся дебри.

Грешно смеяться над романтиком. По-своему он прав. За невинной извращенностью этих образов таится животрепещущая проблема, великая и вековечная: взаимодействие разумного и стихийного, культуры и неуязвимой для нее Природы. Оставляю за собой право при случае заняться этим и обернуться на сей раз романтиком.

Но сейчас я занимаюсь обратной проблемой — как остановить натиск леса. Сейчас «истинному европейцу» предстоит решать задачу, над которой бьются австралийские штаты, — как помешать диким кактусам захватить землю и сбросить людей в море. В сорок каком-то году некий эмигрант, тоскующий по родной Малаге либо Сицилии, привез в Австралию крохотный росточек кактуса. Сегодня австралийский бюджет истощает затяж-

ная война с этим сувениром, который заполонил весь континент и наступает со скоростью километра в год.

Веря в то, что цивилизация так же стихийна и первозданна, как сама Природа, массовый человек *ipso facto** уподобляется дикарю. Он видит в ней свое лесное логово. Об этом уже говорилось, но следует дополнить сказанное.

Основ, на которых держится цивилизованный мир — и без которых он рухнет, — для массового человека попросту не существует. Эти краеугольные камни его не занимают, не заботят, и крепить их он не намерен. Почему так сложилось? Причин немало, но остановлюсь на одной.

С развитием цивилизация становится все сложнее и запутанней. Проблемы, которые она сегодня ставит, архитрудны. И все меньше людей, чей разум на высоте этих проблем. Наглядное свидетельство тому — послевоенный период. Восстановление Европы — область высшей математики и рядовому европейцу явно не по силам. И не потому, что не хватает средств. Не хватает голов. Или, точнее, голова, хоть и с трудом, нашлась бы — и не одна, — но иметь ее на плечах дряблое тело срединной Европы не хочет.

Разрыв между уровнем современных проблем и уровнем мышления будет расти, если не отыщется выход, и в этом главная трагедия цивилизации. Благодаря верности и плодотворности своих основ она плодоносит с быстротой и легкостью, уже недоступной человеческому восприятию. Не думаю, что когда-либо происходило подобное. Все цивилизации гибли от несовершенства своих основ. Европейской грозит обратное. В Риме и Греции потерпели крах устои, но не сам человек. Римскую империю доконала техническая слабость. Когда на-

* в силу самого факта; здесь: фактически (*лат.*).

селение ее разрослось и спешно пришлось решать неотложные хозяйственные задачи, решить которые могла лишь техника, античный мир двинулся вспять, стал возрождаться и зачах.

Но сегодня крах терпит сам человек, уже не способный поспевать за своей цивилизацией. Оторопь берет, когда люди вполне культурные трактуют злободневную тему. Словно заскоруждые крестьянские пальцы вылавливают со стола иголку. К политическим и социальным вопросам они приступают с таким набором допотопных понятий, какой годился в дело двести лет назад для преодоления трудностей в двести раз легче.

Растущая цивилизация — не что иное, как жгучая проблема. Чем больше достижений, тем в большей они опасности. Чем лучше жизнь, тем она сложнее. Разумеется, с усложнением самих проблем усложняются и средства для их разрешения. Но каждое новое поколение должно овладеть ими во всей полноте. И среди них, переходя к делу, выделю самое азбучное: чем цивилизация старше, тем больше прошлого за ее спиной и тем она опытней. Словом, речь идет об истории. Историческое знание — первейшее средство сохранения и продления стареющей цивилизации. И не потому, что дает рецепты ввиду новых жизненных осложнений — жизнь не повторяется, — но потому, что не дает перепевать наивные ошибки прошлого. Однако, если вы помимо того, что состарились и впали в немощь, ко всему еще утратили память, ваш опыт, да и все на свете, вам уже не впрок. Я думаю, что именно это и случилось с Европой. Сейчас самые «культурные» слои поражают историческим невежеством. Ручаюсь, что сегодня ведущие люди Европы смыслят в истории куда меньше, чем европеец XVIII и даже XVII века. Историческое знание тогдаш-

ней верхушки — властителей *sensu lato** — открыло дорогу сказочным движениям XIX века. Их политика — речь идет о XVIII веке — вершилась во избежание всех политических ошибок прошлого, строилась с учетом этих ошибок и обобщала самый долгий опыт из возможных. Но уже XIX век начал утрачивать «историческую культуру», хотя специалисты при этом и продвинули далеко вперед историческую науку**. Этому небрежению он обязан своими характерными ошибками, которые сказались и на нас. В последней его трети обозначился — пока еще скрыто и подпочвенно — отход назад, откат к варварству, другими словами, к той скудоумной простоте, которая не знала прошлого или забыла его.

Оттого-то и большевизм, и фашизм, две политические «новинки», возникшие в Европе и по соседству с ней, отчетливо представляют собой движение вспять. И не столько по смыслу своих учений — в любой доктрине есть доля истины, да и в чем только нет хотя бы малой ее крупинки, — сколько по тому, как допотопно, анти-исторически используют они свою долю истины. Типично массовые движения, возглавленные, как и следовало ждать, недалекими людьми старого образца, с короткой памятью и нехваткой исторического чутья, они с самого начала выглядят так, словно уже канули в прошлое, и, едва возникнув, кажутся реликтами.

Я не обсуждаю вопроса, становиться или не становиться коммунистом. И не оспариваю символ веры. Непостижимо и анахронично то, что коммунист 1917 года решается на революцию, которая внешне повторяет все прежние, не исправив ни единой ошибки, ни единого

* в широком смысле (*лат.*).

** В этом уже проступает тот разрыв между научным уровнем эпохи и ее культурным уровнем, с которым мы еще столкнемся вплотную. — *Примеч. автора.*

их изъяна. Поэтому происшедшее в России исторически невыразительно и не знаменует собой начало новой жизни. Напротив, это монотонный перепев общих мест любой революции. Общих настолько, что нет ни единого изречения, рожденного опытом революций, которое применительно к русской не подтвердилось бы самым печальным образом. «Революция пожирает собственных детей!», «Революция начинается умеренными, совершается непримиримыми, завершается реставрацией» и т.д. и т.п. К этим затасканным истинам можно бы добавить еще несколько не столь явных, но вполне доказуемых — например, такую: революция длится не дольше пятнадцати лет, активной жизни одного поколения*.

Кто действительно хочет создать новую социально-политическую явь, тот прежде всего должен позаботиться, чтобы в обновленном мире утратили силу жалкие стереотипы исторического опыта. Лично я приберег бы титул «гениальный» для такого политика, от первых же шагов которого спятили бы все профессора истории, видя, как их научные «законы» разом стареют, рушатся и рассыпаются прахом.

Почти все это, лишь поменяв плюс на минус, можно адресовать и фашизму. Обе попытки не на высоте своего времени, потому что превзойти прошлое можно только при одном неумолимом условии — надо его цели-

* Срок деятельности одного поколения — около тридцати лет. Но срок этот делится на два разных и приблизительно равных периода: в течение первого новое поколение распространяет свои идеи, склонности и вкусы, которые в конце концов утверждаются прочно и в течение всего второго периода господствуют. Тем временем поколение, выросшее под их господством, уже несет свои идеи, склонности и вкусы, постепенно пропитывая ими общественную атмосферу. И если господствуют крайние взгляды и предыдущее поколение по своему складу революционно, то новое будет тяготеть к обратному, то есть к реставрации. Разумеется, реставрация не означает простого «возврата к старому» и никогда им не бывает. — *Примеч. автора.*

ком, как пространство в перспективу, вместить в себя. С прошлым не сходятся врукопашную. Новое побеждает, лишь поглотив его. А подавившись, гибнет.

Обе попытки — это ложные зори, у которых не будет завтрашнего утра, а лишь давно прожитый день, уже виденный однажды, и не только однажды. Это анахронизмы. И так обстоит дело со всеми, кто в простоте душевной точит зубы на ту или иную порцию прошлого, вместо того чтобы приступить к ее перевариванию.

Безусловно, надо преодолеть либерализм XIX века. Но такое не по зубам тому, кто, подобно фашистам, объявляет себя антилибералом. Ведь быть не либералом, либо антилибералом — значит занимать ту позицию, что была до наступления либерализма. И раз он наступил, то, победив однажды, будет побеждать и впредь, а если погибнет, то лишь вкупе с антилиберализмом и со всей Европой. Хронология жизни неумолима. Либерализм в ее таблице наследует антилиберализму, или, другими словами, настолько жизненной последнего, насколько пушка гибельней копья.

На первый взгляд кажется, что каждому «античему-то» должно предшествовать это самое «что-то», поскольку отрицание предполагает его уже существующим. Однако новоявленное «анти-» растворяется в пустом жесте отрицания и оставляет по себе нечто антикварное. Если кто-то, например, заявляет, что он антитеатрал, то в утвердительной форме это всего лишь означает, что он сторонник такой жизни, в которой театра не существует. Но такой она была лишь до рождения театра. Наш антитеатрал, вместо того чтобы возвыситься над театром, ставит себя хронологически ниже — не после, а до него — и смотрит сначала раскрученную назад киноленту, в конце которой неизбежно появится театр. Со все-

ми этими «анти-» та же история, что приключилась, согласно легенде, с Конфуцием. Он родился, как водится, позже своего отца, но родился-то, черт возьми, уже восьмидесятилетним, когда родителю было не больше тридцати. Всякое «анти-» — лишь пустое и пресное «нет».

Было бы недурно, если бы безоговорочное «нет» могло покончить с прошлым. Но прошлое по своей природе *revenant**. Как ни гони его, оно вернется и неминуемо возникнет. Поэтому единственный способ избавиться от него — это не гнать. Прислушиваться к нему. Не выпускать его из виду, чтобы перехитрить и ускользнуть от него. Короче, жить «на высоте своего времени», обостренно чувствуя историческую обстановку.

У прошлого своя правда. Если с ней не считаться, оно вернется отстаивать ее и заодно утвердит свою неправду. У либерализма правда была; и надо признать это *per saecula saeculorum*** . Но была и не только правда, и надо избавить либерализм от всего, в чем он оказался не прав. Европа должна сохранить его суть. Иначе его не преодолеть. О фашизме и большевизме я заговорил походя и бегло, отметив лишь их архаические черты. Такие черты, на мой взгляд, сегодня присущи всему, что кажется победоносным. Ибо сегодня торжествует массовый человек, и лишь то, что внушено им и прописано его плоским мышлением, может одержать видимость победы. Ограничиваясь этим, не стану вдаваться в суть упомянутых течений, равно как и пытаться решить вечную дилемму эволюции и революции. Единственное, чего я хочу, — чтобы та и другая были историчны, а не выглядели анахронизмом.

* привидение (*фр.*).

** во веки веков (*лат.*).

Проблема, над которой я бьюсь, политически нейтральна, потому что коренится глубже, чем политика с ее распрями. Консерваторы в такой же мере массовые люди, как радикалы, и разница между ними, которая и всегда-то была поверхностной, нимало не мешает им быть одним и тем же — восставшей чернью.

Европе не на что надеяться, если судьба ее не перейдет в руки людей, мыслящих «на высоте своего времени», — людей, которые слышат подземный гул истории, видят реальную жизнь в ее полный рост и отвергают саму возможность архаизма и одичания. Нам понадобится весь опыт истории, чтобы не кануть в прошлое, а выбраться из него.

XI

ВЕК САМОДОВОЛЬНЫХ НЕДОРОСЛЕЙ

Итак, новая социальная реальность такова: европейская история впервые оказалась отданной на откуп заурядности. Или в действительном залоге: заурядность, прежде подвластная, решила властвовать. Решение выйти на авансцену возникло само собой, как только созрел новый человеческий тип — воплощенная посредственность. В социальном плане психологический строй этого новичка определяется следующим: во-первых, подспудным и врожденным ощущением легкости и обильности жизни, лишенной тяжких ограничений, и, во-вторых, вследствие этого — чувством собственного превосходства и всепобуждающего, что, естественно, побуждает принимать себя таким, каков есть, и считать свой умственный и нравственный

уровень более чем достаточным. Эта самодостаточность повелевает не поддаваться внешнему влиянию, не подвергать сомнению свои взгляды и не считаться ни с кем. Привычка ощущать превосходство постоянно берedit желание господствовать. И массовый человек держится так, словно в мире существуют только он и ему подобные, а отсюда и его третья черта — вмешиваться во все, навязывая свою убогость бесцеремонно, безоглядно, безотлагательно и безоговорочно, то есть в духе «прямого действия».

Эта совокупность заставляет вспомнить такие ущербные человеческие особи, как избалованный ребенок и взбесившийся дикарь, то есть варвар. (Нормальный дикарь, напротив, как никто другой, следует высшим установлениям — вере, табу, заветам и обычаям). Не надо удивляться моей желчности. Это первая попытка атаковать триумфатора и знак, что есть еще европейцы, готовые восстать против его тирании. Пока это лишь разведка: главный бой впереди, он не заставит себя ждать и наверняка будет иным, чем я думаю. Но все произойдет так, что массовый человек не сумеет опередить — он будет смотреть в упор и даже не догадается, что это и есть окончательный удар.

Существо, которое в наши дни проникло всюду и всюду выказало свою варварскую суть, и в самом деле баловень человеческой истории. Баловень — это наследник, который держится исключительно как наследник. Наше наследство — цивилизация с ее удобствами, гарантиями и прочими благами. Как мы убедились, только жизнь на широкую ногу и способна породить подобное существо со всем его вышеописанным содержанием. Это еще один живой пример того, как богатство калечит человеческую природу. Мы ошибочно полагаем, что

жизнь в изобилии полней, выше и подлинней, чем жизнь в упорной борьбе с нуждой. А это не так. И тому есть причины, непреложные и архисерьезные, которые здесь не место излагать. Не вдаваясь в них, достаточно вспомнить давнюю и заигранную трагедию наследственной аристократии. Аристократ наследует, то есть присваивает, жизненные условия, которые создавал не он и существование которых не связано органически с его, и только его, жизнью. С появлением на свет он моментально и безотчетно водворяется в сердцевину своих богатств и привилегий. Внутренне его ничто с ними не роднит, поскольку они исходят не от него. Это огромный панцирный покров, пустая оболочка иной жизни, иного существа, родоначальника. А сам он лишь наследник, то есть носит оболочку чужой жизни. Что же его ждет? Какой жизнью суждено ему жить — своей или своего пращура? Да никакой. Он обречен представлять собой другого, то есть не быть ни собой, ни другим. Жизнь его неумолимо теряет достоверность и становится видимостью, игрой в жизнь, и притом чужую. Изобилие, которым он вынужден владеть, отнимает у наследника его собственное предназначение, омертвляет его жизнь. Каждая жизнь — борьба; и борется, чтобы стать собой. Именно те трудности, что мешают мне осуществиться, будят и напрягают мои силы и способности. Если бы мое тело не весило, я бы не мог ходить. Если бы воздух не давил на него, оно казалось бы мне чем-то призрачным, расплывчатым, нереальным. Так от отсутствия жизненных усилий улечивается и личность наследственного «аристократа». Отсюда и то редкостное размягчение мозгов у родовитого потомства, и никем еще не изученный роковой удел наследственной знати — ее глубинный и трагический механизм вырождения.

Если бы лишь на этом и спотыкалась наша наивная вера, что изобилие способствует жизни! Но куда там. Избыточные блага* сами собой уродуют жизнедеятельность и производят на свет такие ущербные натуры, как «баловень», или «наследник» (аристократ — лишь его частный случай), или, наконец, самый вездесущий и законченный тип — современного массового человека. (Стоило бы, кстати, подробнее проследить, как многие характернейшие черты «аристократа» всех времен и народов, подобно семенам, дают массовые всходы. Стремление, например, делать игру и спорт своим главным занятием; всеми средствами — от гигиены до гардероба — культивировать собственное тело; не допускать романтизма в отношениях с женщинами; делить досуг с интеллигентами, в душе презирая их, с радостью отдавая на растерзание лакеям и жандармам; предпочитать режим абсолютной власти демократическим прениям** и т.д. и т.п.)

* Не надо путать рост жизненных благ и даже изобилие с их избытком. Подобное изобилие в XIX веке привело к небывалому — количественно и качественно — росту жизни, о чем я уже напоминал. Но настал час, когда неограниченные возможности цивилизации в контрасте с ограниченностью среднего человека обрели оттенок избытка — чрезмерного, то есть излишнего, обилия. Всего лишь один пример: уверенность, которую, казалось бы, сулил прогресс, — обернулась самоуверенностью, другими словами, ущербным и разрушительным самообманом. — *Примеч. автора.*

** В этом, и не только в этом, отношении английская аристократия кажется исключением. Это само по себе удивительно; однако достаточно беглого взгляда на британскую историю, чтобы увидеть, как этим исключением, при всей его исключительности, подтверждается правило. Вопреки ходячему мнению английская знать была наименее «благополучной» в Европе и свыклась с опасностью и риском, как никакая другая. Потому-то она, живя в постоянной опасности, научилась и научила уважать себя, что требует безуданной боевой готовности. Как-то забывается, что Англия, даже в XVIII веке, была беднейшей страной Европы. Это и спасло британскую знать. Нужда заставила ее смириться с таким — в остальной Европе неблагородным — занятием, как торговля и промышленность, то есть с необходимостью жить созидательно, а не уповать на привилегии. — *Примеч. автора.*

И снова я с тяжелым сердцем вынужден повторить: этот новоявленный варвар с хамскими повадками — законный плод нашей цивилизации, и в особенности тех ее форм, которые возникли в XIX веке. Он не вторгся в цивилизованный мир извне, как «рослые рыжие варвары» пятого века, и не проник в него изнутри, путем таинственного самозарождения, вроде того, что Аристотель приписывал головастикам. Он — естественное порождение упомянутого мира. Можно сформулировать закон, подтвержденный палеонтологией и биогеографией: человеческая жизнь расцветала лишь тогда, когда ее растущие возможности уравнивались теми трудностями, что она испытывала. Это справедливо и для духовного, и для физического существования. Касательно последнего напомним, что человек развивался в тех областях Земли, где жаркое время года уравнивалось нестерпимо холодным. В тропиках первобытная жизнь вырождается, и, наоборот, ее низшие формы, как, например, пигмеи, вытеснены в тропики племенами, возникшими позже и на более высокой эволюционной ступени*.

Словом, именно в XIX веке цивилизация позволила среднему человеку утвердиться в избыточном мире, воспринятом как изобилие благ, но не забот. Он очутился среди сказочных машин, чудодейственных лекарств, услужливых правительств, уютных гражданских прав. А вот задуматься над тем, как непросто создавать эти машины и лекарства и обеспечивать их появление впредь и как шатко само устройство общества и государства, он не успел и, не заботясь о трудностях, почти не ощущает

* Olbricht Klima und Entwicklung 1923. — *Примеч. автора.*

обязанностей. Такой сдвиг равновесия калечит его и, подрезав жизненные корни, уже не дает ему ощутить саму сущность жизни, вечно темную и насквозь опасную. Ничто так не противоречит человеческой жизни, как ее же собственная разновидность, воплощенная в «самодовольном недоросле». И когда этот тип начинает преобладать, надо бить тревогу и кричать, что человечеству грозит вырождение, едва ли не равносильное смерти. Пусть уровень жизни в Европе сегодня выше, чем когда бы то ни было; нельзя, глядя в будущее, не опасаться, что завтра он не только не возрастет, но безудержно покатится вниз.

Все это, надеюсь, достаточно ясно указывает на крайнюю противоестественность «самодовольного недоросля». Это тип человека, который живет, дабы делать то, что заблагорассудится. Обычное заблуждение маменькина сына. А причина проста — в семейном кругу любви, даже тяжкие, проступки остаются, в общем-то, безнаказанными. Семейный очаг — это тепло искусственное, и здесь легко сходит с рук то, что на вольном воздухе улицы имело бы весьма пагубные последствия, и в самом скором времени. Но сам-то «недоросль» уверен, что может повсюду вести себя как дома, что вообще нет ничего неизбежного, непоправимого и окончательного. И потому уверен, что может делать все что заблагорассудится*. Роковая ошибка! «Ваша милость пойдет куда

* Как семья соотносится с обществом, точно так же — только крупнее и рельефнее — нация соотносится с человечеством. Самые самодовольные на сегодняшний день, да и самые монументальные, «недоросли» — это народы, которые вознамерились в человеческом сообществе «делать то, что заблагорассудится». И по наивности называют это «национальным духом». Как ни претит мне дух интернациональный и ханжеское почтение к нему, но эти капризы национальной незрелости кажутся карикатурными. — *Примеч. автора.*

следует», — говорят попугаю в португальской сказке. Но разве нельзя делать то, что хочется? Речь не о том, что нельзя; речь совсем о другом — все, что мы можем, — это делать то, чего не можем не делать, становиться тем, чем не можем не стать. Единственное возможное для нас своеволие — отказаться это делать, но отказ не означает свободу действий — мы и тогда не вольны делать то, что хочется. Это не своеволие, а свобода воли с отрицательным знаком — неволие. Можно изменить своему предназначению и дезертировать, но дезертировать можно, лишь загнав себя в подвалы своей судьбы. Я не могу убедить каждого ссылкой на его собственный опыт, потому что не знаю этого опыта, но вправе сослаться на то общее, что вошло в судьбу каждого. Например, на общее всем европейцам — и куда более прочное, чем их публичные «идеи» и «взгляды» — сознание того, что современный европеец не может не ценить свободу. Можно спорить, какой именно должна быть эта свобода, но суть в ином. Сегодня самый махровый реакционер в глубине души сознает, что европейская идея, которую прошлый век окрестил либерализмом, в конечном счете и есть то непреложное и неизбежное, чем сегодня стал, вольно или невольно, западный человек.

И как бы неопровержимо ни доказывали, насколько ложной и губительной была любая попытка осуществить этот непростительный императив политической свободы, вписанный в европейскую историю, конечным остается понимание, что в прошлом веке, по сути, он оказался прав. Это конечное понимание есть и у коммуниста, и у фашиста, судя по их усилиям убедить себя и нас в обратном, как есть оно — хочет он того или нет, верит

он в это или нет* — у католика, сколь бы преданно ни чтит он «Силлабус». Все они «знают», что, какой бы справедливой ни была критика либерализма, его подспудная правота неодолима, потому что это не теоретическая правота, не научная, не умозрительная, но совсем иного и решающего свойства, а именно — правота судьбы. Теоретические истины не просто спорны, но вся сила и смысл их в этой спорности; они рождены спором, живы, пока оспоримы, и существуют единственно для продолжения спора. Но судьбу — то, чему предстоит или не предстоит стать жизнью — не оспаривают. Ее принимают или отвергают. Приняв, становятся собой; отвергнув, отрицают и подменяют себя**. Судьба поступает не в том, что нам хочется, — напротив, ее строгие черты отчетливей, когда мы сознаем, что должны вопреки хотению.

* Каждый, кто верит, согласно Копернику, что солнце не заходит за горизонт, изо дня в день видит обратное и, поскольку очевидность мешает убеждению, продолжает верить в него. В нем научная уверенность непрерывно подавляет влияние первичной или непосредственной уверенности. Так и упомянутый католик своей догматической верой отвергает свою подлинную, личную веру в насущность свободы. Я упомянул его в качестве примера и только для пояснения своей мысли, а не для того, чтобы подвергнуть такому же строгому суду, какому подвергаю современного массового человека, «самодовольного недоросля». Совпадают они лишь в одном. Вина «недоросля» в том, что он почти целиком не самобытен. У католика же бытие подлинно, но не целиком. Но даже это частичное совпадение мнимо. Католик изменяет себе в той сфере бытия, где он — сын своего времени и, хочет он того или не хочет, современный европеец, и изменяет потому, что стремится остаться верным другой властной сфере своего бытия — религиозной. Это означает, что судьба его, по существу, трагична. И он принимает ее такой. «Самодовольный недоросль», напротив, дезертирует, изменяя себе по безалаберности, а всему остальному — единственно из трусости и желания увильнуть при малейшем намеке на трагедию. — *Примеч. автора.*

** Опуститься, пасть, унизиться — это и значит отказаться от себя, от того, в ком ты должен был осуществиться. Подлинное существование при этом не исчезает, а становится укоризненной тенью, призраком, который вечно напоминает, как низка эта участь и какой непохожей она должна была стать. Такая жизнь — лишь неудачное самоубийство. — *Примеч. автора.*

Итак, «самодовольный недоросль» знает, чему не быть, но, несмотря на это — и даже именно поэтому, — словом и делом изображает, будто убежден в обратном. Фашист обрушивается на политическую свободу именно потому, что знает: всецело и всерьез ее не может не быть, она неотменима как сущность европейской жизни, и в серьезную минуту, когда нуждаться в ней будут по-настоящему, она окажется налицо. Но так уж устроен массовый человек — на «капризный лад». Он ничего не делает раз и навсегда и — что бы ни делал — все у него «понарошку», как выходки «маменькина сынка». Поспешная готовность его в любом деле вести себя трагически, отчаянно и безоглядно — это лишь декорация.

Трагедию он разыгрывает именно потому, что не верит, будто в цивилизованном мире она может разыграться всерьез.

Не принимать же на веру все, что человек изображает из себя! Если кто-то настаивает, что дважды два, по его святому убеждению, пять и нет оснований считать его помешанным, остается признать, что сам он, как бы ни срывал голос и ни грозился умереть за свои слова, попросту не верит в то, что говорит.

Шквал повального и беспросветного фиглярства катится по европейской земле. Любая позиция утверждается из позерства и внутренне лжива. Все усилия направлены единственно на то, чтобы не встретиться со своей судьбой, зажмуриться и не слышать ее темного зова, избежать очной ставки с тем, что должно стать жизнью. Живут в шутку, и тем шуточней, чем трагичней надетая маска. Шутовство неминуемо, если любой шаг необязателен и не вбирает в себя личность целиком и бесповоротно. Массовый человек боится встать на твердый, скальный грунт предназначения; куда свойствен-

ней ему прозябать, существовать нереально, повисая в воздухе. И никогда еще не носилось по ветру столько жизней, невесомых и беспочвенных — выдернутых из своей судьбы — и так легко увлекаемых любим, самым жалким течением. Поистине, эпоха «увлечений» и «течений». Мало кто противится тем поверхностным завихрениям, которые лихорадят искусство, мысль, политику, общество. И потому риторика цветет как никогда. Сюрреалист отважно ставит (избавлю себя от необходимости приводить это слово) там, где раньше стояли «жасмины, лебеди и фавны», и полагает, что превзошел мировую литературу. А всего-то заменил одну риторику другой, прежде пылившейся на заборах.

Понять современность, при всей ее неповторимости, помогает то, что роднит ее с прошлым. Едва средиземноморская цивилизация достигла своей полноты, как на сцену выходит циник. Грязными сандалиями Диоген топчет ковры Аристиппа. В III веке до Рождества Христова циники кишат — они на всех углах и на любых постах. И единственно, что делают, — саботируют цивилизацию. Циник был нигилистом эллинизма. Он никогда не создавал — и даже не пытался. Его работой было разрушение, верней, старание разрушить, поскольку он и в этом не преуспел. Циник, паразит цивилизации, живет ее отрицанием именно потому, что уверен в ней. Чего стоил бы он и что, спрашивается, делал бы среди дикарей, где каждый безотчетно и всерьез действует так, как сам он действовал напоказ и нарочно, видя в том личную заслугу? Чего стоит фашист, если он не ополчается на свободу? И сюрреалист, если не шельмует искусство?

Иначе и не могло бы вести себя это существо, рожденное в чересчур хорошо устроенном мире, где оно

привыкло видеть одни блага, а не опасности. Его избаловало окружение, домашнее тепло цивилизации — и «маменькина сынка» вовсе не тянет покидать родное гнездо своих прихотей, слушаться старших и уж тем более — входить в неумолимое русло своей судьбы.

ХII

ВАРВАРСТВО «СПЕЦИАЛИЗМА»

Я утверждал, что цивилизация XIX века автоматически произвела массового человека. Нельзя ограничиться общим утверждением, не проследив на отдельных примерах процесс этого производства. Конкретизированный, тезис выигрывает в убедительности.

Упомянутую цивилизацию, отмечал я, можно свести к двум основным величинам — либеральной демократии и технике. Остановимся сейчас на последней. Современная техника родилась от соития капитализма с экспериментальной наукой. Не всякая техника научна. Творец каменного топора в четвертичном периоде не ведал о науке и, однако, создал технику. Китай достиг технических высот, не имея ни малейшего понятия о физике. Лишь современная европейская техника коренится в науке и ей обязана своим уникальным свойством — способностью бесконечно развиваться. Любая иная техника — месопотамская, египетская, греческая, римская, восточная — достигала определенного рубежа, который не могла преодолеть, и едва касалась его, как тут же плачевно отступала.

Этой сверхъестественной западной технике обязана и сверхъестественная плодовитость европейцев. Вспомним, с чего началось мое исследование и чем обусловлены все мои выводы. С пятого века по девятнадцатый европейское население не превышало 180 миллионов. А за период с 1800 по 1914 год вырастает до 460 миллионов. Небывалый скачок в истории человечества. Не приходится сомневаться, что техника наряду с либеральной демократией произвели на свет массу в количественном смысле. Но я в этой книге пытался показать, что они ответственны и за возникновение массового человека в качественном и наихудшем смысле слова.

Понятие «масса», как я уже предупреждал, не подразумевает рабочих и вообще обозначает не социальную принадлежность, а тот человеческий склад или образ жизни, который сегодня преобладает и господствует во всех слоях общества, сверху донизу, и потому олицетворяет собой наше время. Сейчас мы в этом убедимся.

Кто сегодня правит? Кто навязывает эпохе свой духовный облик? Несомненно, буржуазия. Кто представляет ее высший слой, современную аристократию? Несомненно, специалисты: инженеры, врачи, финансисты, педагоги и т.д. Кто представляет этот высший слой в его наивысшей чистоте? Несомненно, человек науки. Если бы инопланетянин посетил Европу и, дабы составить о ней представление, поинтересовался, кем именно она желает быть представленной, Европа с удовольствием и уверенностью указала бы на своих ученых. Разумеется, инопланетянин интересовался бы не отдельными исключениями, а общим правилом, общим типом «человека науки», венчающего европейское общество.

И что же выясняется? В итоге «человек науки» оказывается прототипом массового человека. И не эпизо-

дически, не в силу какой-то сугубо личной ущербности, но потому, что сама наука — родник цивилизации — закономерно превращает его в массового человека; иными словами, в варвара, в современного дикаря.

Это давно известно и тысячекратно подтверждено, но лишь в контексте моего исследования может быть осмыслено во всей полноте и серьезности.

Экспериментальная наука возникла на закате XVI века (Галилей*), сформировалась в конце XVII (Ньютон) и стала развиваться с середины XVIII. Становление и развитие — это процессы разные, и протекают они по-разному. Так, физика, собирательное имя экспериментальных наук, формируясь, нуждалась в унификации, и к этому вели усилия Ньютона и других ученых его времени. Но с развитием физики начался обратный процесс. Для своего развития науке необходимо, чтобы люди науки специализировались. Люди, а не сама наука. Знание не специальность. Иначе оно *ipso facto*** утратило бы достоверность. И даже эмпирическое знание в его совокупности тем ошибочней, чем дальше оно от математики, логики, философии. А вот участие в нем действительно — и неумолимо — требует специализации.

Было бы крайне интересно, да и намного полезней, чем кажется, взглянуть на историю физики и биологии с точки зрения растущей специализации исследователей. Мы убедились бы, что люди науки, поколение за поколением, умещаются и замыкаются на все более тесном пространстве мысли. Но существенней другое: с каждым новым

* В связи с этим уместно напомнить, дабы впредь не забывалось, что одна из самых нелепых, фантазмагорических и омерзительных сцен, когда-либо виденных на планете Земля, имела место 26 июня 1633 года — вপুরю отмечать трехсотлетие — день, когда шестидесятилетний Галилей на коленях перед инквизиторами отречатся от физики. — *Примеч. автора.*

** *Ipso facto (лат.)* — здесь: уже потому.

поколением, сужая поле деятельности, ученые теряют связь с остальной наукой, с целостным истолкованием мира — единственным, что достойно называться наукой, культурой, европейской цивилизацией.

Специализация возникла именно тогда, когда цивилизованным человеком называли «энциклопедиста». Десятнадцатый век выводили на дорогу специалисты, чей жизненный кругозор оставался энциклопедическим. Но от поколения к поколению центр тяжести смещался, и специализация вытесняла в людях науки целостную культуру. К 1890 году третье поколение интеллектуальных властителей Европы представлено типом ученого, беспримерным в истории. Это человек, который из всей совокупности знаний, необходимых, чтобы подняться чуть выше среднего уровня, знает одну-единственную дисциплину, и даже в этих пределах — лишь ту малую долю, в которой подвизается. И даже кичится своей неосведомленностью во всем, что за пределами той узкой полоски, которую он возделывает, а тягу к совокупному знанию именует дилетантизмом.

При этом, стесненный своим узким кругозором, он действительно получает новые данные и развивает науку, о которой сам едва помнит, а с ней — и ту энциклопедическую мысль, которую старательно забывает. Как это получается и почему? Факт бесспорный и, надо признать, диковинный: экспериментальное знание во многом развивается стараниями людей на редкость посредственных, если не хуже. Другими словами, современная наука, опора и символ нашей цивилизации, благоприятствует интеллектуальной посредственности и способствует ее успехам. Причиной тому наибольшее достижение и одновременно наихудшая беда современной науки — механизация. Львиная доля того, что совершается в биологии или физике, — это механическая работа мысли,

доступная едва ли не каждому. Для успеха бесчисленных опытов достаточно разбить науку на крохотные сегменты, замкнуться в одном из них и забыть об остальных. Надежные и точные методы позволяют походя с пользой вылуцивать знание. Методы работают как механизмы, и для успешных результатов даже не требуется ясно представлять их суть и смысл. Таким образом, наука своим безграничным движением обязана ограниченности большинства ученых, замерших в лабораторных клетках, как пчела в ячейке или вертел в пазу.

Но это создало крайне диковинную касту. Человек, открывший новое явление природы, невольно должен ощущать силу и уверенность в себе. С полным и безусловательным правом он считает себя «знающим». И действительно, в нем есть частица чего-то, что вкупе с другими частицами, которых он лишен, окончательно становится знанием. Такова внутренняя коллизия специалиста, в начале нашего века достигшая апогея. Специалист хорошо «знает» свой мизерный клочок мироздания и полностью несведущ в остальном.

Пред нами образец того диковинного «нового человека», чей двойственный облик я пытался обрисовать. Я утверждал, что этот человеческий силуэт еще не встречался в истории. По специалисту легче всего определить эту новую породу и убедиться в ее решительной новизне. Прежде люди попросту делились на сведущих и невежественных — более или менее сведущих и более или менее невежественных. Но специалиста нельзя причислить ни к тем, ни к другим. Нельзя считать его знающим, поскольку вне своей специальности он полный невежда; нельзя счесть и невеждой, поскольку он — «человек науки» и свою порцию мироздания знает назубок. Приходится признать его сведущим невеждой, а это тяжелый случай, и означает он, что данный господин к лю-

бому делу, в котором не смыслит, подойдет не как невежда, но с дерзкой самонадеянностью человека, знающего себе цену.

И действительно, специалист именно так и поступает. В политике, в искусстве, в общественных и других науках он способен выказать первобытное невежество, но выкажет он его веско, самоуверенно и — самое парадоксальное — ни во что не ставя специалистов. Обособив, цивилизация сделала его герметичным и самодовольным, но именно это сознание своей силы и значимости побуждает его первенствовать и за пределами своей профессии. А значит и на этом уровне, предельно элитарном и бесконечно удаленном, казалось бы, от массового человека, сознание остается примитивным и массовым.

Это не общие фразы. Достаточно приглядеться к тому скудоумию, с каким судят, решают и действуют сегодня в искусстве, в религии и во всех ключевых вопросах жизни и мироустройства «люди науки», а вслед за ними, само собой, врачи, инженеры, финансисты, преподаватели и т.д. Неумение «слушать» и считаться с авторитетом, которое я постоянно подчеркивал в массовом человеке, у этих узких профессионалов достигает апогея. Они олицетворяют, и в значительной мере формируют, современную империю масс, и варварство их — самая непосредственная причина европейского упадка.

С другой стороны, они — нагляднейшая демонстрация того, как именно в цивилизации прошлого века, брошенной на собственный произвол, возникли ростки варварства и одичания.

Непосредственным же результатом узкой и ничем не восполненной специализации стало то, что сегодня, когда «людям науки» нет числа, людей «просвещенных» на-

много меньше, чем, например, в 1750 году. И что хуже всего, эти научные вертела не могут обеспечить науке внутреннего развития. Потому что время от времени науке необходимо согласованно упорядочивать свой рост, и она нуждается в реформации, в восстановлении, что требует, как я уже говорил, унификации — и все более трудной, поскольку охватывает она все более обширные области знания. Ньютон сумел создать свою научную систему, не слишком углубляясь в философию, но Эйнштейну для его изошренного синтеза пришлось пропитаться идеями Канта и Маха. Кант и Мах — всего лишь символы той огромной массы философских и психологических идей, что повлияла на Эйнштейна — помогли освободиться его разуму и найти путь к обновлению. Но одного Эйнштейна мало. Физика испытывает самый тяжелый за всю свою историю кризис, и спасти ее сможет только новая энциклопедия намного систематизированной прежней.

Итак, специализация, в течение века двигавшая экспериментальное знание, подошла к такому рубежу, для преодоления которого надобно делать что-то посущественней, чем совершенствовать вертела.

И если даже специалисту неясен организм его науки, то уж тем более неясны исторические условия ее долговечности, то есть неведомо, какими должны быть общество и человеческое сердце, чтобы в мире впредь совершались открытия. Современный упадок научного призвания, о котором я упоминал, — это тревожный сигнал для всех, кому ясна природа цивилизации, уже недоступная своим хозяевам — «людям науки». Они-то уверены, что цивилизация всегда налицо, как земная кора или дикий лес.

XIII

ГОСУДАРСТВО КАК ВЫСШАЯ УГРОЗА

В хорошо организованном обществе масса не действует сама по себе. Такова ее роль. Она существует для того, что бы ее вели, наставляли и представляли за нее, пока она не перестанет быть массой или по крайней мере не начнет к этому стремиться. Но сама по себе осуществлять это она не способна. Ей необходимо следовать чему-то высшему, исходящему от избранных меньшинств. Можно сколько угодно спорить, кем должны быть эти избранные, но то, что без них — кем бы они ни были — человечество утратит основу своего существования, сомнению не подлежит, хотя Европа вот уже столетие подобно страусу прячет голову под крыло в надежде не увидеть очевидного. Это не частный вывод из ряда наблюдений и догадок, а закон социальной «физики» под стать Ньютоновым по своей непреложности. В день, когда снова воцарится подлинная философия* — единственное, что может спасти Европу, — вновь откроется, что человек, хочет он того или нет, самой природой своей предназначен к поискам высшего начала. Кто находит его сам, тот избранный; кто не находит, тот получает его из чужих рук и становится массой.

Действовать самовольно означает для массы восстать против собственного предназначения, а поскольку

* Для этого вовсе не требуется, чтобы философы правили, как предлагал Платон, и не требуется даже, чтобы правители философствовали, как более скромно предлагалось после него. Оба варианта плачевны. Чтобы философия правила, достаточно одного — чтобы она существовала, иначе говоря — чтобы философы были философами. Едва ли уж не столетие они тешатся политикой, публицистикой, просвещением, наукой и чем угодно, кроме своего дела. — *Примеч. автора.*

лишь этим она сейчас и занята, я говорю о восстании масс. В конце концов единственное, что действительно и по праву можно считать восстанием, — это восстание против себя, неприятие судьбы. Восстание Люцифера было бы не меньшим мятежом, если бы он метил не на место Бога, ему не уготованное, а на место низшего из ангелов, уготованное тоже не ему. (Будь Люцифер русским, как Толстой, он, наверное, избрал бы второй путь, не менее богоборческий.)

Действуя сама по себе, масса прибегает к единственному способу, поскольку других не знает, — к расправе. Не зря же суд Линча возник в Америке, в этом массовом раю. Нечего удивляться, что сегодня, когда массы торжествуют, торжествует и насилие, становясь единственным доводом и единственной доктриной. Я давно уже отмечал, что насилие стало бытом*. Сейчас оно достигло апогея, и это обнадеживает, поскольку должен же начаться спад. Сегодня насилие — это риторика века, и его уже прибирают к рукам пустомели. Когда реальность отмирает, изжив себя, труп выносятся волнами и долго еще вязнет в болотах риторики. Это кладбище отжившего; на худой конец — его богадельня. Имена переживают хозяев, и хотя это звук пустой, но все-таки звук, и он сохраняет какую-то магическую власть.

Но если даже и вправду окажется, что значимость насилия как цинично установленной нормы поведения готова пойти на убыль, мы все равно останемся в его власти, лишь видоизмененной.

Я перехожу к наихудшей из опасностей, которые грозят сегодня европейской цивилизации. Как и все прочие угрозы, она рождена самой цивилизацией и, больше того, составляет ее славу. Это — наше современное Государство.

* См.: España invertebrada. 1921. — *Примеч. автора.*

Вспоминается то, что я уже отмечал, говоря о науке: плодотворность ее основ ведет к небывалому прогрессу, прогресс неумолимо ведет к небывало узкой специализации, а специализация — к удушению самой науки.

Нечто подобное происходит и с Государством.

Вспомним, чем было в конце XVIII века государство для всех европейских наций. Почти ничем! Ранний капитализм и его промышленные предприятия, где впервые восторжествовала техника, самая передовая и производительная, резко ускорили рост общества. Возник новый социальный класс, энергичней и многочисленней прежних, — буржуазия. У этой напористой публики было одно всеобъемлющее дарование — практическая сметка. Они умели дать делу ход и слаженность, развернуть и упорядочить его. В их человеческом море и блуждал опасливо «государственный корабль». Эту метафору извлекла на свет божий буржуазия, ибо действительно ощущала себя безбрежной, всемогущей и чреватой штормами. Кораблик выглядел утлым, если не хуже, и всего было в обрез — и денег, и солдат, и чиновников. Его строили в Средние века иные люди, во всем противоположные буржуазии, — доблестные, властные и преданные долгу дворяне. Это им обязаны существованием европейские нации. Но при всех душевных достоинствах у дворян было, да и продолжает быть, неладно с головой. Они на нее и не полагались. Непосредственные, нерасчетливые, одним словом, «иррациональные», они живо чувствовали и трудно соображали. Поэтому они не смогли развить технику, требующую изобретательности. Они не выдумали пороха. Поленились. И, не способные создать новое оружие, позволили горожанам освоить порох, завезенный с Востока или бог весть откуда и с его помощью разгромить благородных рыцарей, так беспотолково заклепанных в железо, что в бою они еле воро-

чались, и начисто неспособных уразуметь, что вечный секрет победы — секрет, воскрешенный Наполеоном, — не в средствах защиты, а в средствах нападения*.

Власть — это техника, механизм общественного устройства и управления, и потому «старый режим» к концу XVIII века зашатался под ударами волн беспокойного общественного моря. Власть была настолько слабее общества, что сравнительно с эпохой Каролингов абсолютизм кажется вырождением. Разумеется, двор Карла Великого бесконечно уступал двору Людовика XVI, но зато общество при Каролингах было немощным**. Огромный перевес общественных сил над государственными привел к революции, вернее, к полосе революций вплоть до 1848 года.

Но в ходе революций буржуазия отобрала власть и, приложив к ней свои умелые руки, на протяжении одного поколения создала по-настоящему сильное Государство, которое с революциями покончило. С 1848 года, то есть с началом второй генерации буржуазных правле-

* Эта схема великого исторического перелома, сменившего господство знати главенством буржуазии принадлежит Ранке, но, разумеется, символическая картина переворота требует множества дополнений, чтобы походила на действительную. Порох известен с незапамятных времен. Заряд был придуман кем-то из ломбардцев, но оставался без применения, пока не догадались отлить пулю. Дворяне изредка употребляли огнестрельное оружие, но оно было слишком дорогим. Лишь горожане, экономически лучше организованные, сделали его массовым. Однако с документальной точностью известно, что дворянское, средневекового образца бургундское войско было наголову разбито новым, не профессиональным, а состоящим из горожан швейцарским. Главной силой их была дисциплина и новая рациональная тактика. — *Примеч. автора.*

** Стоило бы задержаться на этом и подчеркнуть, что эпоху европейского абсолютизма отличает именно слабость государства. Какая тому причина? Ведь общество уже набирало силу. Почему же власть, будучи непререкаемой — «абсолютной», — не старалась и сама стать сильнее? Одна из причин уже упомянута: техническая и административная несостоятельность родовой знати. Но есть и другая — аристократы не хотели усиливать государство за счет общества. Вопреки привычным представлениям абсолютизм инстинктивно уважал общество и уважал гораздо больше, чем наши нынешние демократии. Сегодня государство умней, но исторически безответственней. — *Примеч. автора.*

ний, революции в Европе иссякли. И конечно, не по недостатку причин, а по недостатку средств. Власть и общество сравнялись силой. Прощай навеки, революция! Впредь европейцам грозит лишь ее антипод — государственный переворот. Все, что в дальнейшем казалось революцией, было только личиной государственного переворота.

В наши дни Государство стало чудовищной машиной немислимых возможностей, которая действует фантастически точно и оперативно. Это — средоточие общества, и достаточно нажатия кнопки, чтобы гигантские рычаги молниеносно обработали каждую пядь социального тела.

Современное государство — самый явный и наглядный продукт цивилизации. И отношение к нему массового человека проливает свет на многое. Он гордится государством и знает, что именно оно гарантирует ему жизнь, но не сознает, что это творение человеческих рук, что оно создано определенными людьми и держится на определенных человеческих ценностях, которые сегодня есть, а завтра могут улетучиться. С другой стороны, массовый человек видит в государстве безликую силу, а поскольку и себя ощущает безликим, то считает его своим. И если в жизни страны возникнут какие-либо трудности, конфликты, проблемы, массовый человек постарается, чтобы власти немедленно вмешались и взяли заботу на себя, употребив на это все свои безотказные и неограниченные средства.

Здесь-то и подстерегает цивилизацию главная опасность — полностью огосударствленная жизнь, экспансия власти, поглощение государством всякой социальной самостоятельности, словом — удушение творческих начал истории, которыми в конечном счете держатся, питаются и движутся людские судьбы. Когда у массы возникнут затруднения или просто разыграются аппети-

ты, она не сможет не поддаться искушению добиться всего самым верным и первичным способом — без усилий, без сомнений, без борьбы и риска, — одним нажатием кнопки пустив в ход чудодейственную машину. Масса говорит: «Государство — это я», — и жестоко ошибается. Государство идентично массе лишь в том смысле, в каком Икс идентичен Игреку, поскольку никто из них не Зет. Современное государство и массу роднят лишь их безликость и безымянность. Но массовый человек уверен, что он-то и есть государство, и не упустит случая под любым предлогом двинуть рычаги, чтобы раздавить какое бы то ни было творческое меньшинство, которое раздражает его всегда и всюду, будь то политика, наука или производство.

Кончится это плачевно. Государство окончательно удушит всякую социальную самодеятельность, и никакие новые семена уже не взойдут. Общество вынудят жить для государства, человека — для государственной машины. И поскольку это всего лишь машина, исправность и состояние которой зависят от живой силы окружения, в конце концов государство, высосав из общества все соки, выдохнется, зачахнет и умрет самой мертвой из смертей — ржавой смертью механизма.

Такой и была судьба античной цивилизации. Бесспорно, созданная Юлиями и Клавдиями империя представляла собой великолепную машину, по конструкции намного совершенней старого республиканского Рима. Но знаменательно, что едва она достигла полного блеска, общественный организм зачах. Уже при Антонинах (II век) государство придавило его своей безжизненной мощью. Общество порабощается, и все силы его уходят на служение государству. А в итоге? Бюрократизация всей жизни ведет к ее полному упадку. Жизненный уровень быстро снижается, рождаемость и подавно. А государ-

ство, озабоченное только собственными нуждами, удваивает бюрократический нажим. Этой второй ступенью бюрократизации становится милитаризация общества. Все внимание обращено теперь на армию. Власть — это прежде всего гарант безопасности (той самой безопасности, с которой, напомним, и начинается массовое сознание). Поэтому государство — это прежде всего армия. Императоры Северы, родом африканцы, полностью военизируют жизнь. Напрасный труд! Нужда все беспросветней, чресла все бесплодней. Не хватает буквально всего, и даже солдат. После Северов в армию приходится вербовать варваров.

Теперь ясно, как парадоксален и трагичен путь огосударствленного общества? Оно создает Государство как инструмент, облегчающий жизнь. Потом Государство берет верх, и общество вынуждено жить ради него*. Тем не менее состоит оно пока что из частиц этого общества. Но вскоре уже не хватает людей для поддержания Государства, и приходится звать иноземцев — сперва далматов, потом германцев. Пришельцы в конце концов становятся хозяевами, а остатки общества, аборигены — рабами этих чужаков, с которыми их ничто не роднило и не роднит. Вот итог огосударствленности — народ идет в пищу машине, им же и созданной. Скелет съедает тело. Стены дома вытесняют жильцов.

Осознав это, трудно благодушеествовать, когда Муссолини с редкостным апломбом провозглашает как некое откровение, чудесно снизошедшее на Италию: «Все для государства, ничего кроме государства, ничего против государства!» Одно это выдает с головой, что фашизм — типичная доктрина массового человека. Мус-

* Вспомним последний наказ Септимия Севера сыновьям: «Держитесь вместе, платите солдатам и не заботьтесь об остальном». — *Примеч. автора.*

солини заполучил отлично слаженное Государство, и слаженное отнюдь не им, а той самой идейной силой, с которой он борется — либеральной демократией. Он лишь алчно воспользовался ее плодами, и, не входя сейчас в детали его деятельности, можно констатировать одно: результаты на сегодня просто несопоставимы с тем, чего достиг в политике и управлении либерализм. Эти результаты, если они вообще есть, настолько ничтожны, незаметны и несущественны, что трудно оправдать ими ту чудовищную концентрацию власти, которая позволила разогнать государственную машину до предела.

Диктат Государства — это апогей насилия и прямого действия, возведенных в норму. Масса действует самовольно, сама по себе, через безликий механизм Государства.

Европейские народы стоят на пороге тяжелых внутренних испытаний и самых жгучих общественных проблем — экономических, правовых и социальных. Кто поручится, что диктат массы не принудит Государство упразднить свободу личности и тем окончательно погасить надежду на будущее?

Зримым воплощением такой опасности является одна из самых тревожных аномалий последних тридцати лет — повсеместное и неуклонное усиление полиции. К этому неумолимо вел рост общества. И как ни свыклось с этим наше сознание, от него не должна ускользнуть трагическая парадоксальность такого положения дел, когда жители больших городов, чтобы спокойно двигаться по своему усмотрению, фатально нуждаются в полиции, которая управляет их движением. К сожалению, «порядочные» люди заблуждаются, когда полагают, что «силы порядка», ради порядка созданные, успокоятся на том, чего от них хотят. Ясно и неизбежно, что в конце концов они сами станут устанавливать порядки — и, само собой, те, что их устроят.

Стоит задержаться на этой теме, чтобы увидеть, как по-разному откликается на гражданские нужды то или другое общество. В самом начале прошлого века, когда с ростом пролетариата стала расти преступность, Франция поспешила создать многочисленные отряды полиции. К 1810 году преступность по той же причине возросла и в Англии — и англичане обнаружили, что полиции у них нет. У власти стояли консерваторы. Что же они предпринимают? Спешат создать полицию? Куда там! Они предпочли, насколько возможно, терпеть преступность. «Люди смирились с беспорядком, сочтя это платой за свободу».

«У парижан, — пишет Джон Уильям Уорд, — блестящая полиция, но они дорого платят за этот блеск. Пусть уж лучше каждые три-четыре года полудюжине граждан сносят голову на Ратклиф-роуд, чем сносить домашние обыски, слежку и прочие ухищрения Фуше»*. Налицо два разных понятия о государственной власти. Англичане предпочитают ограниченную.

* Цит. по: Halesy E. Histoire du peuple anglais au XIX siècle. 1912. P. 40. — *Примеч. автора.*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIV

КТО ПРАВИТ МИРОМ

Европейская цивилизация, как уже говорилось, и не раз, фатально привела к восстанию масс. Результат однозначен и лицевая сторона медали — лучше некуда: восстание масс тождественно тому небывалому подъему, который испытала в наше время человеческая жизнь. Но обратная сторона зловеща, и в этом плане восстание масс равносильно распаду человечества. Взглянем же на такой оборот событий с новых точек зрения.

1

Облик и склад новой исторической эпохи — всегда следствие сдвига: или внутреннего — духовного, или внешнего — структурного и как бы механического. Важнейший момент последнего — перераспределение власти. Это представляется бесспорным, но такое смещение влечет за собой и сдвиг духовный.

Поэтому, вторгаясь в эпоху с целью постичь ее, мы прежде всего должны спросить: «Кто в данный момент правит миром?» Может оказаться, что в данный момент человечество разобщено, и его разные, полностью отъединенные части стали замкнутыми и независимыми мирами. Во времена Мильтиада средиземноморский мир не ведал о существовании тихоокеанского. В таких случаях наш вопрос надо обращать к каждому из сообществ. Но в XVI веке начался всеобщий грандиозный процесс воссоединения, достигший в наши дни апогея. Уже не осталось изолированных человеческих сообществ — островков человечества. И значит, начиная с XVI века можно утверждать: кто правит, тот и в самом деле властно влияет на весь мир без остатка. Именно такой в течение трех столетий была роль той общности, которую составляли европейские народы. Правила Европа, и мир под ее объединенным управлением жил на единый лад или по крайней мере шел к единообразию.

Этот жизненный строй принято называть «Новое время» — тусклый и невыразительный синоним эпохи европейской гегемонии.

«Правление» здесь не понимается прежде всего как голое принуждение, как насилие. Хочется избежать глупостей, хотя бы явных. Так вот, нормальная и прочная связь между людьми, именуемая «властью», никогда не покоится на силе; все наоборот — тот общественный инструмент или механизм, который кратко называют «силой», поступает в распоряжение человека или группы людей лишь потому, что они правят. Лучшими доказательствами этого становятся при ближайшем рассмотрении как раз те случаи, когда власть кажется основанной на силе. Наполеон взялся завоевать Испанию, какое-то время удерживался в ней, но не правил ни дня. При

том, что сила у него была. И потому, что была только сила. Следует различать захват власти и саму власть. Правление — это нормальное осуществление своих полномочий. И опирается оно на общественное мнение — всегда и везде, у англичан и у ботокудов, сегодня, как и десять тысяч лет назад. Ни одна власть на Земле не держалась на чем-то существенно ином, чем общественное мнение.

Не полагает ли кто, что власть общественного мнения придумал адвокат Дантон в 1789 году или святой Фома Аквинский в XIII веке? Само это понятие могло сложиться в таком-то году и в таком-то месте, но сила общественного мнения, та главная сила, что создает феномен власти, так же стара и неискоренима, как человечество. В Ньютоновой физике гравитация рождает движение. Сила общественного мнения — это гравитация политической истории. Иначе историческая наука была бы немислима. Недаром Юм подчеркивал, что задача историка — демонстрация того, насколько постоянной была и остается в человеческой среде власть общественного мнения. Даже тот, кто намерен управлять с помощью янычар, вынужден считаться и с их мнением, и с мнением о них остального населения.

По правде говоря, с помощью янычар и не правят. Талейран говорил Наполеону: «Штыки, сир, годятся на все, кроме единственного — нельзя на них усидеть». А править — это не брать с бою власть, а спокойно осуществлять ее. В общем, править — это восседать. На троне, на престоле, в сенате, в министерском кресле, где угодно. Вопреки наивному представлению репортеров, власть — это дело не кулаков, а седалищ. В конечном счете власть — это общественный вес, устойчивое состояние, статика. Но бывают и такие обстоятельства, когда общественного

мнения не существует. Общество распадается на враждебные группировки, чьи мнения взаимно парализуются, не оставляя места для зарождения власти. И поскольку природа боится пустоты, отсутствие общественного мнения восполняется насилием. Последнее является всего лишь суррогатом первого.

Поэтому, чтобы точнее сформулировать закон исторической гравитации — общественного мнения, — надо учитывать и моменты его отсутствия, и тогда мы придем к давней, досточтимой и подлинно ходячей истине: нельзя править вопреки воле народа.

Все это ведет к пониманию, что власть означает господство мнений и взглядов, то есть духа; что в конечном счете власть — это всегда власть духовная. История неукоснительно это подтверждает. Первобытные формы власти носят сакральный характер, потому что покоятся на религии, а в форме религии и возникает первоначально все то, что впоследствии становится духом, мыслью, мировоззрением, в общем — все нематериальное и сверхчувственное. Средние века воспроизводят тот же феномен в расширенном виде. Первое государство, или первая общественная власть, возникшая в Европе, — это церковь, с ее особыми полномочиями и титулом «власти духовной». У церкви учится политическая власть — тоже не инородная, а духовная, власть определенных идей, — и создается Священная Римская империя. Так сталкиваются две власти, равно духовные, и, будучи не в силах размежеваться по существу, ибо суть у них одна — дух, — соглашаются разграничить между собой время — на преходящее и вечное. Светская и церковная власти одинаково духовны, но первая — это дух времени, мирские и переменчивые взгляды общества, а вторая — дух вечности, взгляд Бога на мир и его судьбы.

В общем, сказать: «Тогда-то и тогда-то правил такой-то человек, народ или семья народов», — то же самое, что сказать: «Тогда-то и тогда-то преобладало такое-то мировоззрение — совокупность идей, пристрастий, чаяний и планов».

Как следует понимать такое преобладание? У большинства людей нет собственного мнения, и надо, чтобы оно входило в них извне под давлением, как смазка в механизм. А для этого надо, чтобы духовное начало, каким бы оно ни было, обладало властью и осуществляло ее, дабы те, кто не задумывался — а таких большинство, — задумались. Иначе сообщество людей станет хаосом и — хуже того — историческим небытием. Без мировоззрения жизнь утрачивает общий строй и органичность. Поэтому без духовной власти, без кого-то, кто правит, человечество погружается в хаос. И соответственно, всякое перераспределение власти, всякая смена господства — это одновременно и смена общественного мнения, а значит, изменение исторической гравитации.

Вернемся к началу. Несколько столетий в мире правила Европа, конгломерат духовно родственных народов. В пору Средневековья миром дольним не правил никто. И таковы все Средние века, какие только были в истории. Поэтому они выглядят довольно хаотическими и довольно варварскими, неспособными к суждениям. Это времена, когда много любят, ненавидят, жаждут, бунтуют — и все это с огромной силой. Но зато мало размышляют. Такие времена отнюдь не лишены привлекательности. Но великие века истории привлекают осмыслением того, чем живет человечество, и потому им присущ порядок. В средневековой Европе, однако, впервые возник прообраз Нового времени — такое Сред-

невековье, когда нашлось кому править, хотя бы частью мира. Великий властолюбец Рим навел порядок в Средиземноморье и соседних пределах.

В нашей послевоенной печати уже признается, что Европа больше не правит миром. Осознается ли вся серьезность этого признания? Оно предвещает перераспределение власти. Куда она сместится? Кто унаследует европейскую гегемонию? Да и где гарантия, что кто-то унаследует? И если никто, к чему это приведет?

2

Яснее ясного, что в мире каждый миг — а значит, и в данную минуту — творится все что угодно. Поползновение ответить на вопрос, что сейчас происходит в мире, должно восприниматься как самоирония. Но именно потому, что невозможно познать непосредственно всю полноту действительности, остается единственный выход — произвольно сконструировать реальность, определенный и предположительный порядок вещей. Так мы получим схему, то есть идею или систему идей. Затем мы прикладываем ее, словно координатную сетку, к живой действительности и тогда, только тогда, получаем об этой действительности приближенное представление. В этом и состоит научный метод, и не только. Это повседневная практика мышления. Когда мы, завидев на тропинке нашего друга, говорим: «Это Педро», — то сознательно и полусерьезно допускаем ошибку. Потому что «Педро» означает для нас упрощенный набор физических и душевных черт — так называемую характеристику, — и

совершенно ясно, что наш друг Педро ни на миг и почти ни в чем не совпадает с понятием «наш друг Педро».

Любое понятие, от самого тривиального до самого утонченного, заключено в самоиронию, как ограниченный алмаз в золотую челюсть оправы. Со всей серьезностью говорится: «Вот А, а вот В». Но это серьезность издевки. Шаткая серьезность того, кто давится от смеха и, если не стиснет зубы, расхохочется. Он ведь отлично знает, что А, если начистоту, не есть А, как и В не есть В целиком и без остатка. На самом деле — и в этой двойственности заключается ирония — думается чуть иначе, чем говорится: я знаю, что, подходя строго, это не А, а это не В, но, признавая их таковыми, я определяю для себя жизненную позицию по отношению к тому и другому.

Такой взгляд на познавательную роль мышления возмутил бы грека. Греки считали, что в мышлении, в понятиях им открывается сама реальность. Мы же считаем, что идеи, понятия — это рабочие инструменты человека и служат они ему для того, чтобы прояснить его положение в той бездонной и архисмутной реальности, которой является его жизнь. Жизнь — это вызов всему сущему, чтобы выстоять в борьбе с ним. Идея — стратегический план отпора. И если докопаться до самой сути того или иного понятия, окажется, что оно ничего нам не скажет о природе вещей, но подытожит все, чем они могут служить или грозить человеку. К такому ограничительному выводу, что содержимое понятий всегда витально, что всегда это потенциальный поступок или промах, до сих пор, насколько я знаю, не приходил никто, но такой вывод, на мой взгляд, неизбе-

жен для того типа философского мышления, начало которому положил Кант. И если в его свете пересмотреть докантовскую философию, окажется, что все философы подспудно думали так же. Что ж, философское открытие и есть открытие, извлеченное из подспудного.

Но подобные вступления слишком обременительны для темы, крайне далекой от философских проблем. Я хотел сказать только то, что в мире — подразумевается, в историческом — сегодня происходит всего-навсего следующее: три века Европа правила миром, а сегодня она уже не уверена, что правит и тем более — что будет править. Конечно, все многообразие современной исторической реальности сводить к такой простой формуле, мягко говоря, самонадеянно, и приходится напоминать себе, что думать тоже самонадеянно, хочешь того или нет. Кто не хочет, пусть не раскрывает рта. Или того верней — пусть вообще не думает и убеждается, что это лучший способ поглупеть.

Я действительно думаю, что сказанное выше и есть то, что происходит сейчас в мире по существу; все остальное — это уже следствия, симптомы, подробности или просто курьезы.

Речь идет не о том, что Европа утратила власть, но лишь о том, говоря строго, что Европа наших дней глубоко сомневается, правит ли она сегодня и будет ли править завтра. Это рождает у других народов Земли ответное сомнение. Они тоже не уверены, что ими кто-либо правит.

Последние годы много говорилось о европейском упадке. Раз уж об этом зашла речь, горячо прошу не обращаться мгновенно мыслями к Шпенглеру. Задолго до его книги все только и говорили о закате Европы, и

своим успехом книга явно обязана тому, что ей уже предшествовали общая тревога и озабоченность, разного свойства и по самым разнородным причинам.

О европейском упадке столько говорено, что многими он стал восприниматься как нечто несомненное. Не потому, что многие уверились и убедились в нем, а просто потому, что привыкли принимать его на веру, хотя искренне не помнят, когда именно и с чего это началось. В недавней книге «Новое открытие Америки» ее автор Уолдо Фрэнк полностью исходит из того, что Европа агонизирует. При этом он не прибегает ни к анализу, ни к доказательствам и даже не видит проблемы в таком небывалом явлении, которое служит ему столь мощной посылкой. Не вдаваясь в подробности, он исходит из него, как из непреложного факта. И вот эта исходная святая простота сама по себе убеждает меня, что Фрэнк не только не верит в европейский упадок, но и вообще не тем занят. Он им пользуется, как трамваем. Банальности — трамваи мышления.

Так поступают многие, и даже целые народы. Народы в особенности.

Сегодня мир являет собой образец ребячества. Когда классу становится известно, что учителя не будет, ребячий табун шалает и стригунки встают на дыбы. Каждый счастлив избавиться от учительского гнета, сбросить узду правил, ходить вверх ногами и быть самому себе хозяином. Но поскольку утвержденных правилами дел и обязанностей больше нет, молодые силы не находят себе занятия, серьезного, осмысленного, постоянного и целенаправленного, и все, что остается, — это резвиться.

Фривольное зрелище бытия несмышленных народов выглядит плачевно. Ввиду того, что Европа, по слухам, находится в упадке и, стало быть, перестала править, каждый народ и народик резвится, гримасничает, хнычет или пыжится и тянется вверх, изображая взрослого, хозяина своей судьбы. Отсюда та бациллярная картина мира, где на каждом шагу кишат «национализмы».

В предыдущих главах я пытался обрисовать новый человеческий тип, который сегодня преобладает; я назвал его массовым человеком и отметил, что основная его черта — сознавая собственную заурядность, утверждать свое право на нее и не признавать авторитетов. Поскольку этот тип преобладает в каждом народе, естественно, что картина повторяется на международном уровне. Народы относительно массовые, народы-массы рады взбунтоваться против народов творческих — великого меньшинства, сотворившего историю. Забавно видеть, как та или другая карлица-республика тянется на цыпочках из своей глухомани, клянет Европу и грозит уволить ее из мировой истории.

Что происходит? Европа создала систему ценностей, действенность и плодотворность которой подтверждены веками. Эта система ни в коем случае не лучшая из возможных. Но она бесспорна, пока нет другой, хотя бы в зачатке. Чтобы превзойти ее, надо родить новую. Сейчас народы-массы спешат объявить устарелой ту систему ценностей, которую представляет собой европейская цивилизация, но, неспособные создать другую, они не знают, что им делать, и, чтобы убить время, резвятся.

Это первое, что происходит, когда миром никто не правит, — восставшие остаются без дела, без жизненной программы.

3

Цыган пришел на исповедь, но пронизательный падре сперва осведомляется: учил ли он когда заповеди Божьи. «Хотел было, — отвечает цыган, — да прослышал, будто их отменяют».

Чем не сегодняшний день? В мире прослышали, что заповеди европейские устарели, и все — и люди, и народы — спешно пользуются возможностью жить без заповедей. Ибо других, помимо европейских, у них не было. Произошло не то, что обычно происходит, когда новая поросль теснит старую и молодое пламя свежего костра поглощает остатки полуугасшего. Это было бы в порядке вещей. Больше того, старое старо не от собственной старости, а оттого, что возникает новое и одной только своей новизной внезапно старит все предшествующее. Не будь детей, мы бы не старились или старились намного позже. То же происходит и с машинами. Автомобиль десятилетней давности выглядит куда старомодней, чем паровоз — двадцатилетней, и только потому, что новинки автомобильной техники быстрее сменяют одна другую. Упадок старого, вызванный ростом нового и молодого, — это признак здоровья.

Но с Европой происходит что-то странное и нездоровое. Европейские заповеди утратили силу, а других пока что не видно. Европа, говорят, перестает править, а заменить ее некому. Под Европой прежде всего и главным образом подразумевается триумвират Англии, Франции и Германии. На участке планеты, который они занимают, был выработан тот способ человеческого существования, в соответствии с которым преобразовывался мир. И если, как сейчас утверждают, эти три народа пришли

в упадок и жизненная программа их обесценена, нечего удивляться, что мир распадается.

А это чистая правда. Весь мир — начиная с человека и кончая целыми народами — распадается. Какое-то время этот распад радует и даже внушает смутную надежду. Подневольным кажется, что с них свалилась тяжесть. Заповеди с того самого дня, когда их запечатлели в камне и бронзе, хранят эту тяжесть. Этимологически «править» — руководить — означает заставлять, загружать человека, не давать его рукам воли. Правление — это неослабное бремя. Подневольные всего мира уже по горло сыты принуждением и понуканием, и для них празднично время, лишенное тягостного императива. Но праздник недолог. Без заповедей, диктующих образ жизни, она становится неприкаянной. Лучшие из молодых уже испытывают это нестерпимое внутреннее чувство. Ощувив себя свободными, ничем не связанными, не обремененными, они ощутили пустоту. Неприкаянная, невостребованная жизнь — больший антипод жизни, чем сама смерть. Жизнь — это обязательство что-то совершить, исполнение долга, и, уклоняясь от него, мы отрекаемся от жизни. Скоро, очень скоро отчаянный вопль охватит Землю и, как вой бездомных собак, достигнет неба, моля, чтобы кто-то или что-то явились и стали править, вернув людям заботы и обязанности.

Пусть усвоят это все те, кто с детским неразумием возвещает конец европейского правления. Править — это возвращать человека к делу, к собственному предназначению, к самому себе: не давать воли сумасбродству, которое легко оборачивается праздностью, опустошенностью, оскудением.

Конец правления Европы не представлялся бы столь серьезным, будь у нее преемник. Но ждать его неоткуда.

Нью-Йорк и Москва не обещают ничего нового. Это фрагменты европейского завета, которые в отрыве от остального утратили смысл. Признаться, разговор о Москве и Нью-Йорке раздражает, поскольку в точности неизвестно, что они такое, — известно только, что последнее слово о них еще не сказано. Но и неполного знания достаточно, чтобы угадать их природный смысл. Он вполне соответствует тому, что я неоднократно называл «феноменом исторического камуфляжа». По сути своей камуфляж — это реальность, которая оказывается иной, чем кажется. Облик ее, вместо того чтобы выявлять, прячет ее сущность. И поэтому легко обманывает. Избежать обмана способен лишь тот, кто заранее, в общем и целом, знает, что камуфляж возможен. Так происходит с миражами. Теоретическое знание исправляет ошибки зрения.

В случае исторического камуфляжа друг на друга накладываются две реальности — глубинная, подлинная, сущностная и внешняя, случайная, поверхностная. Так, у Москвы есть оболочка европейской идеи — марксизма, созданного в Европе применительно к европейским реалиям и проблемам. Под этой оболочкой — народ, не только этнически иной, чем европейские, но — что неизмеримо важнее — иного возраста. Народ еще не перебродивший, молодой, едва ли не юношеский. Победа марксизма в России, где нет промышленности, была бы величайшим противоречием, с каким только сталкивался марксизм. Но такого противоречия нет, поскольку нет и победы. В России не больше марксистского, чем было римского в германцах Священной Римской империи. У молодых народов нет идей. И если в окружающем пространстве живет или угасает старая культура, они маскируются теми идеями, которые она предлагает. В

этом камуфляж и его причина. Обычно забывается, как я не раз отмечал, что у народов бывают два типа развития. Одни народы рождаются в «мире», полностью нецивилизованном. Например, египтяне или китайцы. У таких народов все свое, и проявляется оно прямо и недвусмысленно. Но другие народы растут и развиваются в пространстве, уже обжитом вековой цивилизацией. Таков Рим, который поднялся из волн Средиземноморья, насыщенных культурой Эллады и Востока. Поэтому жесты у римлян наполовину свои, наполовину заимствованные. А любые заимствованные, затверженные жесты всегда двойственны, и свой подлинный смысл выражают не прямо, а косвенно. Все, что затвержено — ну хотя бы, например, слово чужого языка, — подспудно содержит и что-то исконное, свое — например, мысленный перевод на родной язык. Поэтому камуфляж для своего уяснения требует тоже косвенного взгляда — взгляда того, кто читает со словарем. Я надеюсь дожждаться книги, где сталинский марксизм будет переведен на язык русской истории. Он силен тем, что есть в нем русского, а вовсе не тем, что в нем от коммунизма. Не будем же загадывать на будущее! Одно лишь достоверно: России потребуются еще века, чтобы принять бразды правления. Именно потому, что у нее нет еще заповедей, она притворяется верной европейским идеям Маркса. Именно потому, что у нее в избытке молодость, она обходится притворством. Для юноши жизнь не нуждается в оправданиях — ей достаточно отговорок.

Нечто схожее происходит и с Нью-Йорком. Неверно, что своей мощью он обязан тем заповедям, по которым живет. В конечном счете они сводятся к одному — к техницизму. Уже любопытно! Снова продукт европейский. Техника создавалась в Европе в течение XVIII и

XIX веков. Еще любопытней! Те же самые века, когда создавалась Америка. И нас еще уверяют, что секрет — в американской жизненной философии, что суть Америки — в ее практицизме и культе техники! Вместо того чтобы сказать: Америка, как и любая колония, способствует опрощению — или омоложению — древних рас, в особенности европейской. По-иному, чем Россия, Нью-Йорк на свой лад воплощает ту особую историческую реальность, о которой говорят «молодой народ». Это не фигуральное выражение, как принято думать, а реальность, и не меньшая, чем молодой человек. Америка сильна своей молодостью, которая служит современному культу «техники», как служила бы культу Будды, будь на повестке дня буддизм. Но при этом Америка только начинает свою историю. Ее тревоги и распри еще впереди. Ей предстоит еще много перевоплощений, в том числе — полярных практицизму и культу техники. Ведь Америке куда меньше лет, чем России. Я всегда, стараясь не сгущать краски, утверждал, что это полудикий народ, закамуфлированный новейшими изобретениями*. Подтверждение тому — книга Уолдо Фрэнка. Америка еще не испытана жизнью; наивно думать, что она способна править.

Кто противится пессимистическому выводу, что в мире некому править и, следовательно, история обращается в хаос, тот должен вернуться к исходной точке и спросить себя серьезно: так ли это верно, как говорят, будто Европа сейчас в упадке и отрекается от власти? Не принимается ли за упадок целительный кризис, который позволит Европе действительно стать Европой? И не покажется ли очевидный упадок европейских наций

* См.: Гегель и Америка // Эль Эспектадор. Т. VII. 1930. — *Примеч. автора.*

априорно необходимым, когда встанет вопрос о Соединенных Штатах Европы, о замене европейской раздробленности слаженным единством?

4

Власть и подчинение — решающие условия существования любого общества. Когда становится непонятно, кто правит и кто подчиняется, все идет бестолково, вкривь и вкось. Даже самое личное, святая святых каждого человека, кроме гениальных исключений, искажается и уродуется. Если бы человек был одиночкой и лишь от случая к случаю общался с остальными, тогда, быть может, ему не угрожали бы толчки, вызванные смещением или кризисом власти. Но человек органически социален, и его натуру будоражат и преобразуют те изменения, которые выглядят сугубо общественными. И если, выбрав наудачу, проанализировать психику отдельно взятого человека, по нему одному можно определить, какие в его стране понятия о власти и подчинении.

Было бы любопытно, да и полезно, подвергнуть такой проверке внутренний склад рядового испанца. Операция, впрочем, оказалась бы неприятной и, при всей полезности, унижительной, так что бог с ней. Но вскрылось бы немало тлетворного и низменного, обязанного тем низменным понятиям о власти и подчинении, которых Испания держалась веками. Низменность — не что иное, как изворотливое и ставшее привычным принятие того, что при всем согласии с ним продолжает оставаться недолжным и недостойным. Поскольку нельзя сделать естественным и здоровым то, что по сути своей урод-

ливо и преступно, человек приспособливается к нему, в конце концов полностью свыкаясь и срастаясь со злом. Словом, механика, вошедшая в поговорку: «Раз солгал, а лгуном навеки стал». Любой народ переживал времена, когда править им пытались недостойные, но здоровый инстинкт заставлял собрать все силы в кулак и покончить с этими незаконными притязаниями. Он сопротивлялся временному недугу и восстанавливал общественное здоровье. Но испанцы поступили наоборот: вместо того чтобы дать отпор той власти, которой противилась их совесть, они предпочли примириться с исходной ложью, извратив себя ради этого окончательно. Пока все остается по-старому, напрасно чего-то ждать от нашего народа. Достоинно держаться в истории — труд нелегкий и не по силам обществу, где власть — внешняя и внутренняя — требует бесчестности.

В общем, неудивительно, что стоит появиться неуверенности, легкому сомнению относительно того, кто в мире правит, как весь мир целиком — от общественной жизни до частной — устремляется к распаду.

Человеческая жизнь по самой природе своей должна быть отдана чему-то, великому или малому, блистательному или будничному. Условие странное, но непреложное, вписанное в нашу судьбу. С одной стороны, жить — это усилие, которое каждый совершает сам по себе и для себя. С другой стороны, если эту мою жизнь, которая принадлежит только мне и только для меня что-то значит, я ничему не отдам, она распадется, утратив напор и связность. Наше время — это зрелище бесчисленных человеческих жизней, которые заблудились в собственных лабиринтах, не найдя, чему отдать себя. Все веления, все наказания отменены. Казалось бы, лучшего и желать нельзя — ведь каждая жизнь вольна теперь де-

лать то, что ей по душе, вправе заняться собой. Как и каждый народ. Гнет Европы ослабел. Но результат оказался обратным ожидаемому. Освобождаясь, жизнь освободилась от себя, осталась опустошенной и неприкажной. И, силясь заполнить пустоту, она «ребячливо» придумывает саму себя, вместо дела довольствуется его суррогатом, не требующим ни ума, ни сердца. Сегодня — одно, завтра — другое, совсем обратное. Она заблудилась, оставшись наедине с собой. Эгоизм — заколдованный круг. Замкнутость. Жизнь — это выстрел в цель, движение к мишени. Цель — не само движение, не сама жизнь; цель — то, к чему я направил ее и что находится за ее пределами. Если я пожелаю двигаться только в ее пределах, эгоистически, я не продвинусь ни на шаг и не приду никуда — я буду кружить и кружить на одном месте. Это замкнутый круг, лабиринт, дорога в никуда, безвозвратный уход в себя.

После войны европейцы замкнулись в себе, сбились с дороги и сбили других. Исторически мы там же, где были десять лет назад.

Ни с того ни с сего не правят. Власть — это гнет. Но не только. Будь она только гнетом, все свелось бы к насилию, голому принуждению. Не забудьте, что у нее две стороны: принуждается кто-то, но принуждается он к чему-то. И то, к чему он принуждается, — это в конечном счете участие в замысле, в великом историческом предназначении. Не бывает могущества без программы жизни, точнее — без программы могущественной жизни. Как говорит Шиллер,

Монархи, чтобы строить,
должны торить дороги.

Словом, не надо поддаваться обывательской уверенности, что действия великих народов, как и великих людей, продиктованы чистым эгоизмом. Не так это легко, как кажется, быть чистым эгоистом, и никто из них не одерживал побед. Мнимый эгоизм великих народов и великих людей — это неумолимость, неизбежная для тех, чья жизнь целенаправленна. Когда делается настоящее дело и мы поглощены им, напрасно требовать, чтобы мы отвлекались на прохожих и разменивались на случайный и мелочный альтруизм. Иностранцев в Испании особенно чарует то, что на вопрос, где такая-то площадь или такое-то здание, спрошенный обычно прерывает путь и, благородно жертвуя временем и делами ради незнакомца, доводит его до нужного места. Не спору, что добрым кельтибером движет известное благородство, и рад, что иностранец это чувствует. Но всякий раз, читая или слыша об этом, не могу отделаться от подозрения. А на самом ли деле мой соотечественник куда-то шел? Ибо вполне может оказаться и часто оказывается, что делал он это без малейшей надобности и вообще вышел в чужую жизнь поглядеть, не заполнит ли кто хоть немного его собственную. Я не раз убеждался, что мои компатриоты выходят на улицу в надежде, что попадется иностранец, которого можно проводить.

Плохо, что неуверенность в той власти над миром, которой до сих пор обладала Европа, деморализовала остальные народы, кроме, пожалуй, тех, что по возрасту еще не вышли из собственной предыстории. Но гораздо хуже, что это *piétinement sur place** готово полностью деморализовать самих европейцев. Говорю так не потому, что я европеец или что-то вроде того. И не хочу этим сказать, что если европейцы перестанут править

* топтание на месте (*фр.*).

миром, он утратит для меня всякий интерес. Для меня отставка Европы ничего бы не значила, существуя сегодня другой комплот народов, способный принять власть и руководить миром. Но даже не это меня заботит. Пусть хоть никто не правит, лишь бы не привело это к полному оскудению европейских достоинств и дарований.

Вот последнее было бы непростительным. Если европейцы свыкнутся с потерей власти, не сменится и двух поколений, как старый Запад, а за ним и весь мир впадут в душевную косность, умственное бесплодие и повальное одичание. Лишь иллюзия власти и рожденная этим дисциплина ответственности способны держать в напряжении европейские души. Наука, искусство, техника и буквально все дышат тем живительным кислородом, который источает сознание власти. Если ее не станет, европейцы начнут опускаться. Умы утратят ту врожденную веру в себя, что гнала их, неутомимых и упорных, на поиски великих, еще неизвестных идей. Европейцы станут будничными. Неспособные к щедрым творческим усилиям, живущие вчерашним днем, погрязшие в привычной рутине, они сделаются такими же плоскими, мелочными и бесплодными, как поздние эллины и византийские греки.

Творческая жизнь требует безупречности, строжайшего режима и самодисциплины, рождающих чувство собственного достоинства. Творческая жизнь деятельна, и возможна она только при двух условиях — или быть тем, кто правит, или быть в мире, которым правит тот, за кем мы полностью признаем это право. Или правлю я, или я повинуюсь. Повиноваться не значит терпеть — терпеть унижительно, — но, напротив, уважать того, кто ведет, и охотно следовать за ним — с радостью становясь под его широкое знамя.

5

Теперь вернемся к исходной точке — к тому крайне любопытному обстоятельству, что в мире последние годы без умолку твердят об упадке Европы. Любопытней всего то, что пресловутый упадок впервые заметили не иностранцы — открытие принадлежит самим европейцам. В остальном мире это никому и в голову не приходило, а в Германии, Англии и Франции кое-кому пришло. Не переживаем ли мы упадок? Эта заразная мысль получила хорошую прессу, и сегодня весь мир говорит о европейском упадке как о несомненном факте.

Но вежливо прервите говорящего и спросите, на каких конкретных и явных признаках основан его диагноз. Ответом будет воздымание рук к округлости мироздания и другие неопределенные жесты, характерные для утопающего. Он действительно не знает, за что ухватиться. Единственное, что без особых уточнений приводится в доказательство упадка, — это экономические трудности, с которыми сегодня сталкивается каждая европейская нация. Но когда начинает уточняться характер этих трудностей, выясняется, что ни одна из них серьезно не затрагивает возможностей экономического роста и что наш древний континент уже пережил гораздо более тяжкий кризис.

Быть может, германцы или бритты сегодня не ощущают себя способными производить как можно больше и лучше? В какой-то мере — да, и крайне важно в ряду экономических величин учесть этот внутренний фактор. Как ни странно, такой упадок духа происходит не от недостатка сил и способностей, а как раз наоборот — от ощущения избыточной, невиданной прежде силы, которая натывается на роковую стену и не может совершить

то, что совершила бы с легкостью. Роковые стены современной германской, английской или французской экономики — это политические границы современных государств. Таким образом, подлинные трудности коренятся не в той или другой, внезапно возникшей, экономической проблеме, а в том, что форма общественной жизни тесна для заключенных в ней экономических возможностей. На мой взгляд, чувство ущербности и бессилия, которое в последние годы, бесспорно, подтачивает европейскую жизнь, рождено этим несоответствием между размахом сегодняшних возможностей и рамками политического устройства, внутри которого они вынуждены осуществляться. Стремление разрешить насущные вопросы сильно как никогда, но оно сразу упирается в тесные перегородки, в те мелкие национальные устройства, на которые до сих пор раздроблена Европа. Угнетенный и подавленный, западный дух сегодня похож на ту ширококрылую птицу, что, силясь расправить маховые перья, обламывает их о прутья клетки.

Подтверждение тому — сходная картина в других областях жизни, внешне далеких от экономики. Например, в интеллектуальной жизни. Каждый подлинный интеллектуал Германии, Англии или Франции сегодня задыхается в национальных рамках, ощущая свою национальную принадлежность единственно как бремя. Немецкий профессор ясно сознает нелепости стиля, навязанного ему немецким профессорским окружением, и тоскует по той недоступной свободе, которой наслаждаются французский литератор или английский эссеист. Образованный парижанин, напротив, начинает понимать, что традиция литературного мандаринства, словесного формализма, на которую обрекает его французское происхождение, исчерпана, и

хотел бы, взяв из нее все лучшее, соединить его с достоинствами немецкой школы.

В области внутренней политики творится то же самое. Никто еще глубоко не проанализировал, почему так угасает политическая жизнь великих наций. Говорят, что демократические институты дискредитировали себя. Но тогда тем более надо понять, почему. Ибо это странная дискредитация. В любой стране ругают парламент, но ни в одной из тех, где он есть, — не ищут ему замены, не намечают даже утопических контуров иной формы правления, более привлекательной хотя бы в идеале. Значит, не стоит так уж верить в эту мнимую дискредитацию. Не институты как инструменты общественной жизни плохи, а то, чем они занимаются. Нет программы такого же масштаба, какого достиг жизненный заряд каждого европейца.

Налицо обман зрения, который сразу надо исправить, потому что уже набили оскомину ежеминутные глупости, в том числе и те, что говорятся в адрес парламента. Существует целый свод веских возражений против традиционных форм парламентской власти, но нетрудно убедиться, что ни одно из них не предполагает ее упразднения и все они, напротив, явно и прямо подводят к необходимости ее преобразования. А лучшая в устах человека похвала чему-либо — это требование его переделать и, следовательно, признать его нужным, годным и способным к обновлению. Современный автомобиль возник из нареканий в адрес автомобиля 1910 года. Но обывательское неуважение к парламенту возникает иначе. Говорят, например, что он недееспособен. Тогда надобно спросить, в чем. Дееспособность — это способность инструмента выполнять намеченные задачи. В данном случае задачей является разрешение каждым народом своих общественных проблем. И от любого, кто заявляет о недееспособности парламента, мы вправе тре-

бовать ясных представлений о том, как эти проблемы должны решаться. Если же такой ясности нет, если сегодня ни одному народу не ясно, хотя бы теоретически, что именно следует делать, бессмысленно обвинять в неадекватности общественные институты. Полезнее вспомнить, что ни одно общественное устройство в истории не создало ничего лучше и успешней парламентских правлений XIX века. Факт настолько очевиден, что не считается с ним попросту глупо. И не надо возможность и безотлагательность коренного преобразования законодательных собраний для «пущей» их успешности путать с утверждением их ненужности.

Дискредитация парламентской власти не имеет ни малейшего отношения к ее действительным недостаткам. Причина другая, не связанная с ней как с инструментом политическим. Причина в том, что европейцы не знают, на что эту власть употребить, не уважают устоев и целей своей общественной жизни — в общем, не питают иллюзий относительно того национального государства, к которому они приписаны и прикованы. Если взглянуть пристальней в пресловутую дискредитацию, выяснится, что гражданам не уважают собственного государства, будь то Германия, Англия или Франция. Бесполезно менять детали государственного механизма, если беда не в них, а в самом государстве, которое стало тесным.

Впервые споткнувшись о национальные границы, европеец ощущает, насколько его экономические, политические, интеллектуальные запросы — то есть его жизненные возможности, жизненный размах — несоизмеримы с тем коллективным телом, в котором они томятся. И тогда он открывает для себя, что быть немцем, англичанином или французом провинциально. Он обнаруживает, что это уже нечто «меньшее», чем прежде, потому что прежде анг-

личанин, немец или француз считали себя, каждый в отдельности, мирозданием. В этом, по-моему, подлинный источник того упадочного настроения, которое гнетет европейца. Следовательно, источник чисто внутренний и парадоксальный, поскольку подозрение в собственной ущербности внушено не чем иным, как ростом сил и способностей, скованных устарелыми структурами.

Чтобы прояснить сказанное, мягко приземлим его и обратимся к чему-нибудь конкретному — например, к выпуску автомобилей. Автомобиль — изобретение целиком европейское. Тем не менее на первом месте сегодня американское производство. Вывод: европейское автомобилестроение находится в упадке. Однако европейские производители — конструкторы и промышленники — хорошо знают, что американская продукция обязана своим превосходством не каким-то особым достоинствам заокеанского населения, а той простейшей причине, что американский завод может беспрепятственно предлагать свою продукцию ста двадцати миллионам человек. Представим, что европейскому заводу открывается рынок, вобравший в себя все европейские государства вкупе с их колониями и протекторатами. Нет сомнений, что автомобиль, предназначенный пятистам или шестистам миллионам человек, был бы намного лучше и дешевле фордовского. Все совершенства американской техники — это почти целиком следствие, а не причина широты и однородности американского рынка. «Рационализация» производства — автоматическое следствие его масштабов.

Итак, подлинная картина европейского кризиса представляется такой: долгое и великое прошлое привело к новой жизненной ступени, где все разом возросло, но отжившие структуры этого прошлого стали карликовы-

ми и мешают росту. Европа утвердилась в форме маленьких наций. В известной мере национальная идея и национальное чувство были ее кровными детищами. И теперь она обязана перерасти себя. Таков контур гигантской драмы, которой предстоит разыграться в ближайшие годы. Сумеет Европа освободиться от мертвого груза или останется навсегда погребенной под ним? Ибо однажды так уже было в истории, что великая цивилизация пала, не сумев сменить затверженные представления о государстве...

6

В свое время я уже описывал агонию и смерть античного мира и за подробностями отсылаю к написанному*. А сейчас рассмотрим эту тему в ином свете.

В истории греки и латиняне возникают как обитатели городов, *poleis*. Это достоверность таинственного происхождения, факт, из которого можно исходить, и только, — как зоолог исходит из того голого и необъяснимого факта, что *srhex*** живет жизнью бродячей, неприютной и отдельной, а золотая пчела не существует вне роя, строящего соты***. Дело в том, что археология позволяет заглянуть на земли Афин и Рима до их возникнове-

* См.: О гибели Рима // Эль Эспектадор. Т. VI. 1927. — *Примеч. автора.*

** хищная оса, пескорой (*лат.*).

*** Именно так поступают физический и биологический разум, «естественнонаучный разум», тем самым доказывая, что он менее разумен, чем «исторический разум», ибо последний, когда он смотрит вглубь, а не вскользь, как на этих страницах, ни один факт не признает абсолютным. Для него «мыслить» означает растворять факты, чтобы обнаружить их исток. См. мою работу «История как система». — *Примеч. автора.*

ния. Но переход от этой предыстории, целиком сельской и невыразительной, к рождению города — совершенно нового плода, возвращенного землей двух полуостровов — остается тайной; неясна даже этническая связь между праисторическими племенами и теми странными общинами, что ввели в обиход человечества великое новшество — общественную площадь и вокруг нее отгороженный от мира город. В самом деле, лучшее определение города, полиса, весьма напоминает известный рецепт: взять дыру, обмотать ее потуже проволокой — и выйдет пушка. Потому что и город, или polis, начинается с пустоты — форума, агоры, а все остальное — только способ очертить ее контур. Полис изначально не скопление жилищ, а место общественных собраний, пространство, отведенное для гражданских дел. Город выстроен не как хижина или domus, чтобы укрываться от непогоды и продолжать род, не для частных и семейных нужд, а для того, чтобы решать общественные вопросы. И означает это ни больше ни меньше, как открытие нового пространства, куда более нового, чем пространство Эйнштейна. Прежде существовало единственное пространство — Земля, и это накладывало печать на ее обитателей. Крестьянин — как растение. И по сей день его существование, все, что он думает, чувствует, хочет, хранит печать растительной жизни, ее беспамятного сна. В этом смысле великие азиатские и африканские цивилизации были огромными антропоморфными джунглями. Но греко-римляне решают обособиться от земли, от «природы», от геоботанического космоса. Как это сделать? Как уйти человеку от земли? Куда податься, если земля — это весь мир, если она бесконечна? Очень просто: огородить клочок земли стенами, которые противопоставят замкнутое пространство бесконечному и бесформенному. Вот вам

и площадь. Это не закрытое сверху, как дом, убежище, подобное природным пещерам, но простое и полное отрицание природы. Клочок земли благодаря пограничным стенам порывает с остальным, отвлекается от него и противопоставляет ему себя. Малая мятежная земля, которая отпала от бескрайней и отстаивает свою независимость, — это упраздненная природа и, следовательно, пространство *sui generis**, совершенно новое, где человек освобождается от своей общности с растениями и животными, оставляет их снаружи и утверждает на особой, чисто человеческой почве. Это гражданская почва. Оттого Сократ, великий горожанин, тройной крепости городской экстракт, обронит: «У меня ничего общего с деревьями в поле, общее у меня с людьми в городе». Мыслимо ли такое для индуса или перса, для китайца или египтянина?

Вплоть до Александра и Цезаря греческая и римская история была непрерывной борьбой рационального города и растительного окружения, борьбой юриста и пахаря, *jus* и *rus*.

Не думайте, что все изложенное — это сугубо мое построение и к действительности приложимо чисто символически. С редким упорством, в самых древних и глубинных пластах памяти, обитатели греко-римского города хранят незабытое *synoikismos*. Итак, не надо искать текст — достаточно его перевести. *Synoikismos* — это памятный след готовности жить вместе: сожителство — в его двойном, физическом и юридическом значении. На смену растительному расползанию по земле пришло гражданское сплочение в городе. Город — это сверхдом, это преодоление дома, людского логова, создание новой структуры, более абстрактной и сложной,

* особого рода (лат.).

чем семейное *oikos**. Это республика, *politeia*, которая складывается не из мужчин и женщин, а из сограждан. Новое измерение, уже несводимое к первобытному и полуживотному, предложено человеческому существованию, и те, что прежде были просто человеческими особями, вкладывают в это новое всю свою энергию. Так возникает город и становится государством.

В известной мере все Средиземноморье всегда обнаруживало стихийную тягу именно к этой форме государства. С большей или меньшей отчетливостью в Северной Африке происходит то же самое («Карфаген» означает «Город»). Италия вплоть до XX века не изжила город-государство, да и наш Левант изо всех сил держится за свой кантониальный сепаратизм — отрыжку все той же тысячелетней приверженности**.

Город-государство ввиду относительной малочисленности его основ позволяет уловить специфику государственного начала. С одной стороны, понятие «государство» — держава — свидетельствует, что исторические силы пришли к равновесию и сдерживают друг друга. В этом смысле государство — противоположность историческому движению, сосуществование устойчивое, организованное, статичное. Но это впечатление неподвижности, покоя и завершенности заслоняет, как и всякое равновесие, ту динамику, которой государство рождено и держится. В итоге забывается, что созданное государство — всего лишь результат усилий, его создавших, исход долгой борьбы. Государству предшествует строитель-

* жилище (*греч.*).

** Было бы интересно проследить, как в Каталонии действуют заодно два враждебных начала — европейский национализм и полисный дух Барселоны, в которой вечно оживает душа древнего обитателя Средиземноморья. Я уже писал однажды, что левантинец — последний реликт *homo antiquus* / здесь: человека античного (*лат.*) / на нашем полуострове. — *Примеч. автора.*

ство государства, и вот они-то и есть источник и залог движения.

Этим я хочу сказать, что государство как общественную форму человек не получает готовым и без усилий, но должен ковать его, не щадя сил. Это не орда или племя и прочие сообщества, основанные на кровном родстве, о сплочении которых заботится сама природа, не нуждаясь в человеческих усилиях. Напротив, государство возникает, когда человек стремится выйти из того природного общества, в котором его держат узы крови. Говоря о крови, мы говорим и о прочих природных связях — например, о языке. С самого начала государство держится смешением кровей и наречий. Государство — преодоление всякой природной общности. Это метис и полиглот.

Следовательно, государство строится для объединения племен. Над зоологическим многообразием оно воздвигает абстрактное единообразие закона*. Разумеется, не юридическим единством вдохновляются творческие силы государства. Стимул у них иной, поважнее всяких законов, — воплощение жизненных замыслов, непосильных для крохотных племенных образований. В основании любого государства мы видим или угадываем силуэт великого предпринимателя.

Если взглядеться в историческую обстановку накануне рождения государства, картина всегда одна и та же: многообразие крохотных сообществ, организованных так, чтобы каждое могло жить само по себе и для себя, лишь иногда вступая в редкие, случайные контакты. Но несомненная внутренняя связь так же несомненно уступа-

* Юридическое единообразие не ведет к неизбежному централизму. — *Примеч. автора.*

ла место связям внешним, прежде всего торговым. Член каждой общины уже не жил лишь ее жизнью, но становился причастным к жизни иноплеменников, с которыми обменивался товаром и мыслями. Возникает расхождение между двумя видами общения, внутренним и внешним. Утвердившаяся общественная форма — право, «обычай», вера — служит внутреннему и затрудняет внешнее, новое и более обширное. В этих условиях государственное начало — путь к упразднению общественной структуры внутренних связей и к ее замене структурой, адекватной новым, внешним связям. Приложите это к современной европейской действительности, и абстрактные рассуждения разом обретут плоть и кровь.

Строительство государства невозможно, если народное сознание не способно отвергнуть привычную форму общежития и, мало того, вообразить новую, еще невиданную.

Такое строительство — это подлинное творчество. Первоначально государство возникает как чистый плод воображения. Воображение — освободительное начало в человеке. Народ способен создать государство в той мере, в какой он способен фантазировать. Оттого у всех народов наступал предел их государственного развития — предел, поставленный природой их воображению.

Греки и римляне, сумевшие придумать город, который одолел деревенскую разобщенность, застряли в городских стенах. И тот, кто хотел расковать античное сознание, освободить его от города, не сумел этого. Римская бедность воображения в лице Брута предпочла убить величайшую фантазию античности в лице Цезаря. Европейцам стоит сегодня вспомнить эту историю, ибо наша собственная готова раскрыться на той же странице.

7

Светлых голов, светлых в полном смысле слова, в античном мире, быть может, было всего две — Фемистокл и Цезарь, два политика. Бесспорно, были и другие, родившие немало светлых мыслей — математических, философских и натурфилософских. Но то был свет науки, то есть абстракций. Все, что говорит наука, абстрактно, а все абстрактное ясно. Так что ясность не столько в голове того, кто занят наукой, сколько в самом предмете занятий. По-настоящему темна и запутанна лишь конкретная, живая действительность, вечно неповторимая. Кто способен уверенно ориентироваться в ней, кто в общем хаосе событий различает их сиюминутную подоплеку, скрытную структуру времени — короче, кто не теряется в жизни, — только у того действительно светлая голова. Взгляните на окружающих — и увидите, насколько заблудились они в собственной жизни; они движутся, как лунатики, по краю своей судьбы, благополучной или злосчастной, и даже не догадываются, что с ними происходит. На словах они точно определяют самих себя и свое окружение, и, казалось бы, это свидетельствует о понимании того и другого. Но если бегло обозреть их понятия, обнаружится, что они насколько не отражают ту действительность, с которой кажутся соотнесенными, а если взглянуть поглубже, выяснится, что они и не претендуют на это. Все наоборот — человек пытается подменить ими свое видение мира, заслониться от собственной жизни. Потому что жизнь на первый взгляд — это хаос, в котором теряешься. Человек об этом догадывается, но боится оказаться лицом к лицу с грозной реальностью и отгораживается фантазмагорической завесой, на которой все изображено про-

сто и понятно. Его нимало не заботит, что его «идеи» неправдоподобны, — для него это окопы, чтобы отсидеться от собственной жизни, или страшные гримасы, чтобы отпугнуть реальность.

Светлые головы — те, кто избавляется от фантазматических «идей», смотрит на жизнь в упор и видит, что все в ней спорно и гадательно, и чувствует, что гибнет. А поскольку жить как раз и означает чувствовать себя гибнущим, только признание этой правды приводит к себе самому, помогает обрести свою подлинность, выбраться на твердую почву. Инстинктивно, как утопающий, человек ищет за что ухватиться, и взгляд его — трагический, последний и предельно честный, поскольку речь идет о спасении — упорядочивает сумятицу его жизни. Единственно подлинными мысли — мысли утопающего. Все прочее — риторика, поза, внутреннее фиглярство. Кто не чувствует, что действительно гибнет, тот погибнет обязательно — он никогда не найдет себя, не столкнется со своей подлинной сутью.

Это справедливо для всего, и даже для науки, не смотря на то что сама по себе наука — бегство от жизни (большинство людей науки отдается ей из боязни оказаться лицом к лицу с собственной жизнью; не светлые это головы — отсюда и прославленная их беспомощность в конкретных жизненных обстоятельствах). Наши научные идеи ценны ровно настолько, насколько безнадежной ощущали мы поставленную проблему, насколько хорошо видели ее неразрешимость и понимали, что не можем опереться ни на готовые теории, ни на рецепты, ни на постулаты, ни на словесные ухищрения.

Кто открывает новую научную истину, тому пришлось перелопатить почти все, чему выучился, и новое далось ему в руки, окровавленные от разгребания бесконечных общих мест.

Политика реальной науки, потому что складывается из неповторимых ситуаций, в которые человек, хочет он того или нет, внезапно погружается с головой. Это позволяет легче отличать светлые головы от набитых трухой.

Цезарь — высочайший, высший из всех нам известных, образец умения видеть сердцевину событий в момент общей сумятицы и пугающей смуты, в одну из самых хаотических минут, пережитых человечеством. И, словно не отказав себе в удовольствии получше оттенить этот образцовый дар, провидение рядом поместило блистательную голову интеллектуала, Цицерона, призванную до конца дней своих путать все на свете.

Переизбыток удачи утяжелил политическое тело Рима. Город на Тибре, хозяин Италии, Испании, африканских провинций, эллинского и эллинистического Востока, казалось, вот-вот лопнет. Его общественные институты, по сути своей муниципальные, были так же нерасторжимы с городом, как гамадриады под страхом смерти — со своим родным деревом.

Судьба демократии при любой ее форме и развитости зависит от мелкой технической детали — процедуры выборов. Остальное второстепенно. Если избирательная система хороша и отвечает действительности, все идет хорошо; если нет, то как бы ни радовало остальное, все идет плохо. Рим начала I века до Рождества Христова всемогущ, богат и не знает соперников. Тем не менее это начало его конца, потому что упорно сохраняется нелепая избирательная система. Такая система нелепа, когда она лжива. Голосовать надо было в городе. Окрестные граждане уже не могли выбирать. А те, что разбрелись по всему римскому миру, и подавно. Поскольку

выборы были нереальны, приходилось их фальсифицировать, и кандидаты набирали банды из ветеранов и цирковых атлетов, которые с готовностью били урны.

Без опоры на подлинно всеобщее голосование демократические институты повисают в воздухе. Как повисают слова. «Республика не больше, чем слово». Это сказал Цезарь. Ни одна магистратура не пользовалась авторитетом. Вожди левых и правых, марины и суллы, наггели в бесплодном диктаторстве, которое ни к чему не приводило.

Цезарь не излагал своих политических замыслов, он их просто осуществлял. То был Цезарь, а не учебник цезаризма, который потом из него сделали. Чтобы понять его замыслы, выход один — обратиться к его делам и назвать вещи своими именами. Разгадка в его главном подвиге — завоевании Галлии. Чтобы завершить его, он открыто восстал против законной власти. Во имя чего?

У власти стояли республиканцы — то есть консерваторы, преданные городу-государству. Их программа сводилась к двум пунктам. Первый: все римские неурядицы возникают из-за чрезмерной экспансии. Город не может управлять столькими народами. Всякое новое завоевание — это преступление против республики. Второй: чтобы избежать распада общественных институтов, необходим правитель, принцепс.

В слово «правитель» римляне вкладывали смысл, едва ли не противоположный нашему. Под этим понимался гражданин, точно такой же, как остальные, но наделенный высшими полномочиями с единственной целью — регулировать деятельность республиканских институтов. Цицерон в его труде «О республике» и Салюстий в его жизнеописании Цезаря суммируют упования всех закон-

ников — нужен *princeps civitatis**, нужен *rector rerum publicarum***, нужен *moderator****.

Решение Цезаря полностью противоположно консерваторскому. Ему понятно, что для исцеления недугов, вызванных прежними завоеваниями, нет иного средства, как только продолжать их, до конца принимая столь беспокойную судьбу. Особенно безотлагательно завоевание молодых народов, в недалеком будущем более опасных, чем растленный Восток. Цезарем движет необходимость полной романизации западных варваров.

Существует мнение (Шпенглер), что греки и римляне были неспособны ощущать время, видеть свою жизнь в ее временной протяженности. Они жили в настоящем. Подозреваю, что это ошибка или по крайней мере смещение понятий. Греки и римляне страдают удивительной слепотой по отношению к будущему. Они его не различают, как дальтоник не различает красный цвет. Зато жизнь их во всем опирается на прошлое. Прежде чем что-то совершить, они делают шаг назад, как Лагартихо перед последним ударом; в былом они ищут подбодие возникшей ситуации и, отыскав, погружаются в настоящее, защищенные и скованные испытанным скафандром. Поэтому их жизнь — это в известном смысле непрерывное воскрешение. Жизнь архаизирована, и такой она была почти у всех людей древности. Но это вовсе не означает, что они лишены чувства времени. Это лишь однобокий перекосяк его: недоразвитое чувство будущего и преувеличенное — прошлого. Мы, европейцы, всегда тяготели к будущему и верили, что там лежит главное пространство времени, которое для нас начиналось

* глава государства (*лат.*).

** распорядитель общественных благ (*лат.*).

*** управитель (*лат.*).

с того, что «будет», а не с того, что «было». Понятно, почему античная жизнь нам кажется вневременной.

Маниакальная привычка прикасаться к настоящему только в перчатках образцового прошлого перешла от античного человека к современному филологу. Он тоже слеп к будущему. Такой же ретроград, он занят поисками прецедентов, которые красиво именуется буколическим словом «источник». Говорю это к тому, что еще античные биографы Цезаря отказались понять исключительность его личности, приписав ему подражание Александру. Схема утвердилась: если Александру не давали спать лавры Мильтиада, Цезарю вменялась бессонница по вине Александра. И так далее. Что ни шаг, то вспять; что ни день, то вчерашний. Современный филолог — отпрыск античного биографа.

Поверить, что Цезарь жаждал совершить нечто подобное тому, что совершил Александр — а в это поверили почти все историки, — значит отказаться от всякой попытки понять его. Цезарь — едва ли не противоположность Александру. Идея всемирного царства — единственное, что их роднит. Но эта идея рождена не Александром, а созрела в Персии. Тень Александра повела бы Цезаря на Восток, заморозила прошлым. Его решительный выбор Запада — лучшее доказательство стремления оспорить македонца. Да и не всемирное царство сулил очертя голову Цезарь. Его замысел был намного глубже. Это Римская империя, которая держится не Римом, а периферией, провинциями, что ведет к окончательному преодолению города-государства. Это — государство, где сотрудничают самые разные народы, где все связаны общими интересами. Не центр, который приказывает, и не периферия, которая подчиняется, а гигантский социальный организм, где каждая клетка — од-

новременно объект и субъект государства. Так выглядит современное государство, и поистине сказочным кажется провидческий дар Цезаря. Но замысел его требовал власти внеримской, антиаристократической, бесконечно вознесенной над республиканскими олигархами и над их принципсом, который был лишь *primus inter pares**. Такой исполнительной и представительной властью всемирной демократии могла стать только монархия с престолом вне Рима.

Республика, монархия! Два слова, что по ходу истории постоянно меняли свой исконный смысл; и, чтобы добраться до возможной их сути, надо всякий раз раскалывать орешек.

Доверенными лицами Цезаря, его непосредственными орудиями были не архаические городские светила, а безродные люди, энергичные и удачливые провинциалы. В роли министра при нем — Корнелий Бальб, гадитанский торговец, сын Атлантики.

Но идея Цезаря слишком опережала время. Неповоротливые латинские мозги были неспособны к такому скачку. Тень города, материалистически осязаемая, мешала римлянам «увидеть» невиданную структуру нового социального организма. Как могут составлять государство люди, не живущие в одном городе? Что это за форма общности, столь мудреная и чуть ли не мистическая?

Еще раз повторяю: реальность, именуемая государством, — не стихийное общежитие, созданное кровным родством. Государство начинается с того, что принуждает сосуществовать группы, природно разобщенные. И принуждение — это не голое насилие, но побудительный призыв, общее дело, предложенное разобщенным. Государство прежде всего — план работ и программа сотрудничества.

* первым среди равных (*лат.*).

Оно собирает людей для совместного дела. Государство — не общность языка или крови, территории или уклада жизни. В нем нет ничего материального, инертного, предварительного и предельного. Это чистый динамизм — воля к совместному делу — и потому у государственной идеи нет никаких природных ограничений*.

Блистателен известный политический девиз Сааведры Фахардо — стрела и под ней надпись: «Или взлетает, или падает». Это и есть государство. Движение, и только движение. Государство каждый миг — нечто достигнутое и устремленное. Как у всякого движения, у него есть *terminus a quo*** и *terminus ad quem****. Остановите в любое мгновение жизнь государства, но только настоящего, и обнаружится единство, которое кажется основанным на том или ином природном признаке — языке, крови, «естественных границах». Статический взгляд убеждает: это и есть государство. Но вскоре обнаруживается, что весь этот человеческий улей занят чем-то объединяющим — завоевывает народы, основывает колонии, объединяется с соседями. Словом, ежечасно преодолевает то, что казалось естественной основой его единства. В этом *terminus ad quem* и заключается подлинная суть государства, чье единство состоит именно в преодолении всякого предварительного единства. Когда этот порыв, устремление вдаль иссякает, государство гибнет, и единство, уже достигнутое и, казалось бы, настолько материализованное — нация, язык, природные границы, — бессильно помочь: государство разрушается, распадается, рассыпается прахом.

Лишь эта двойственность государственного бытия — единство достигнутое и единство больших масштабов,

* См. мою работу: Спортивная природа государства // Эль Эспектадор. Т. VII. 1930. — *Примеч. автора.*

** исходный пункт, начало (*лат.*).

*** конечный пункт, конец (*лат.*).

которое предстоит достичь — позволяет понять природу национального государства. Известно, что еще не удалось дать определение нации, если брать это слово в его современном значении. Для города-государства то было понятие совершенно четкое, в чем каждый мог убедиться собственными глазами. Но новый тип общности, зародившийся у галлов и германцев, весь политический дух Запада, смутен и неуловим. Филолог и современный историк, по-своему архаичный, так же озадачены этим удивительным явлением, как в свое время Цезарь или Тацит, которые пытались в римских терминах описать зарождающиеся государства за Рейном, Альпами или же за Пиренеями. Они их называли *civitas*, *gens*, *patio*, сознавая, что ни одно из названий не годится*. Это не *civitas* уже по той причине, что это не города**. Но не удастся даже размыть термин и обозначить им определенную территорию. Новые народы с поразительной легкостью меняют место обитания или по крайней мере расширяют или сужают его. Это и не этнические общности — народы, нации. Самый беглый взгляд убеждает в том, что новые государства сложились из общностей природно независимых. Это — смешение, сочетание кровей. Что же тогда нация, если не общность территории, или крови, или чего-то еще в том же роде?

В этом вопросе, как и в любом другом, помочь может только тщательное следование фактам. Что бросается в глаза, если взглянуть на эволюцию какой-либо из современных «великих наций»? Одна общая черта: то, что в какой-то момент казалось национальной принадлежностью, в следующий момент оказывается отвергну-

* Допш. Социальные и экономические основы европейской цивилизации. 1924. 2-е изд. Т. II. — *Примеч. автора.*

** Римляне не решались называть городами варварские поселения ввиду их крайней скученности. *Faute de mieux* (за неимением лучшего) они называли их *sedes ratorum* (становье, стан). — *Примеч. автора.*

тым. Сначала нацией кажется племя, а не-нацией — соседнее племя. Потом это союз двух племен, еще позже — нескольких, и вскоре это уже целое графство, или герцогство, или «королевство». Это Леон, но не Кастилия; потом Леон и Кастилия, но не Арагон. Всегда налицо два начала: одно изменчивое и вечно преодолеваемое — племя, союз племен, герцогство, «королевство», с их языками или диалектами, второе — постоянное, которое беспрепятственно пересекает все эти рубежи и домогается такой общности, какая прежде выглядела своей полной противоположностью.

Филологи — к ним я отношу всех, кто претендует сегодня считаться «историком» — упиваются прописными истинами, исходя из того, чем являются сейчас, в этот краткий миг, эти два или три века европейские нации, и полагая, что Верцингеториксу или Сиду Кампедору грезилась Франция от Сен-Мало до Страсбурга — и ни пядью меньше — или Гишпания от Финистерре до Гибралтара. Эти филологи, как наивные драматурги, почти всех своих героев исправно шлют на Тридцатилетнюю войну. Чтобы растолковать, как получились Испания и Франция, они предполагают, что задолго до того Испания и Франция уже стали едиными в недрах испанских и французских душ. Как будто испанцы и французы появились раньше, чем Испания и Франция! Как будто, чтобы выковать испанца и француза, не потребовался двухтысячелетний труд!

Истина в том, что современные нации выражают собой лишь упомянутое изменчивое начало, обреченное на преодоление. Сегодня это начало — не общность языка или крови, поскольку такая общность в Испании и Франции была результатом, а не причиной государственного объединения; сегодня это начало — «естественные границы».

Дипломату в его фехтовальном искусстве прощительно применять понятие естественной границы как *ultima ratio* своих обоснований. Но историку не следует отставивать его, как последний редут. Он не последний и даже не такой уж важный.

Надо помнить, как именно поставлен вопрос. Следует выяснить, что же такое «национальное государство» — то, которое мы привычно отождествляем с нацией, — сравнительно с другими типами государств, такими, как город-государство или другая крайность — империя, основанная Августом*. Сформулируем вопрос еще точнее и отчетливей: какая сила сделала реальным то существование миллионов людей под эгидой общественной власти, которое зовется Францией, Англией, Испанией, Италией или Германией? Она не была изначальной общностью крови, так как любой из этих людских массивов орошен самой разноплеменной кровью. Не была она и языковой общностью, так как люди, спаянные сегодня в государство, говорили, а иные и по сей день говорят на разных языках. Относительная общность языка и крови, которой сегодня гордятся — полагая, что стоит гордиться, — позднейший результат объединения политического. Следовательно, не кровь и язык создают национальное государство — наоборот, это оно уравнивает состав крови и артикуляцию звуков. И так

* Известно, что созданная Августом империя была противоположностью тому, что приемный отец его Цезарь хотел основать. Август действовал в духе Помпея, противника Цезаря. Лучшее, что на сегодняшний день написано об этом, — книга Эдуарда Мейера «Монархия Цезаря и принципат Помпея» (1918). Однако, будучи лучшей, она мне кажется слишком узкой; неудивительно: историков широкого полета сейчас нет. Книга Мейера направлена против Моммзена, который недостижим как историк, и хотя не трудно упрекнуть его в том, что он идеализирует Цезаря и превращает его в условную и сверхчеловеческую фигуру, суть политики Цезаря он, на мой взгляд, уловил лучше Мейера. Тоже неудивительно: Моммзен был не только великим филологом, но и изрядным футурологом. И прошлое он видит в той мере, в какой провидит будущее. — *Примеч. автора.*

было всегда. Крайне редко государство совпадало, если вообще совпадало, с изначальной общностью крови и языка. Испания сегодня национальное государство не потому, что все в ней говорят по-испански*, как и Арагон и Каталония были государствами не потому, что в один прекрасный день, удачно выбранный, их территориальные границы совпали с языковыми. Признавая всю ту казуистику, с которой сталкивает нас любая действительность, ближе к истине было бы предположение, что всякое языковое единство отстоялось в результате предварительного политического слияния**. Государство всегда было великим толмачом.

Все это старые открытия, и можно лишь удивляться тому упорству, с которым не перестают подпирать национальность языком и кровью. Я нахожу это столь же неблагодарным, сколь и нелепым. Ибо француз существованием своей сегодняшней Франции, как и испанец — своей Испании, обязан тому безымянному началу, чья энергия как раз и преодолевала тесноту кровного и языкового родства. Для того чтобы Испания и Франция сегодня были противоположностью тому, с чего они начинались.

К подобному же передергиванию прибегают, когда пытаются утвердить идею нации на территориальной основе, видя начало единства, несоизмеримого с языком и кровью, в географическом мистицизме «естественных границ». Знакомый обман зрения. Моментальный снимок сегодняшнего дня представляет нам

* Неверно даже и то, что все испанцы говорят по-испански, все англичане — по-английски, а все немцы — на верхненемецком наречии. — *Примеч. автора.*

** Сюда, понятно, не относятся *koinon* (*koinon* [греч.] — литературный греческий) и *lingua franca* (*lingua franca* [лат.] — язык франков) — языки не национальные, а предназначенные для межнационального общения. — *Примеч. автора.*

упомянутые народы размещенными на широких просторах континента или прилегающих островах. Из сиюминутных рубежей хотят сделать что-то вечное и духовное. Это, как говорят, «естественные границы», и в их «естественности» видится некая магическая предопределенность истории формой земной поверхности. Но миф мгновенно рушится от тех же самых доводов, что отвергли общность языка и крови как исток нации. И здесь тоже, вернувшись на несколько веков назад, застаем Испанию и Францию разобщенными на более мелкие нации со своими собственными, как водится, «естественными границами». Пограничные хребты будут пониже Альп или Пиренеев, а водные рубежи — поуже Рейна, Па-де-Кале или Гибралтарского пролива. Но это говорит лишь о том, что «естественность» границ весьма относительна. Она зависит от экономических и военных возможностей эпохи.

Историческая роль пресловутой «естественной границы» крайне проста: мешать экспансии народа. Народа А против народа В. Поскольку помеха для А — в общении или в завоевании — это защита для В. В понятии «естественная граница», таким образом, открыто обнаруживается куда более естественная, чем сами границы, возможность безграничной экспансии и слияния народов. Очевидно, лишь материальные помехи держат их в узде. Вчерашние и позавчерашние границы кажутся нам сегодня не основами французской или испанской нации, а, напротив, помехами, с которыми национальная идея сталкивалась в процессе объединения. Несмотря на это, мы силимся сделать окончательными и основополагающими границы сегодняшние, хотя для современных военных и транспортных средств они давно уже не помеха.

Если границы никак не могли быть национальной основой, какова же тогда их роль в образовании наций?

Крайне простая и крайне важная для понимания подлинного духа национальных государств по сравнению с городом-государством. Границы служили укреплению уже достигнутого политического единства. Следовательно, они были не основой нации, а, напротив, помехами этой основе и затем, однажды преодоленные, становились естественным средством упрочения единства.

Но точно такую же роль играют язык и кровь. Не природная их общность создала нацию, а, напротив, национальное государство в своем стремлении к единству столкнулось с разноплеменностью и разноязычием в числе прочих помех. Решительно одолев их, оно создало относительное единообразие, расовое и языковое, которое послужило упрочению единства.

Итак, ничего другого не остается, как покончить с давним и привычным передергиванием в вопросах национального государства и привыкнуть смотреть на трех китов, на которых якобы держится нация, как на изначальные помехи ее возникновению. Естественно, разоблачая такое передергивание, я рискую быть заподозренным в том же самом.

Надо отважиться видеть разгадку национального государства в том, что присуще ему именно как государству, в самой его политике, а не в посторонних началах биологического или географического свойства.

Почему на самом деле кажется необходимым обращаться к языку, крови и родной земле, чтобы понять удивительную природу современных наций? Просто потому, что в них мы наблюдаем близость и солидарность индивида с общественной властью, неведомые государству античному. В Афинах и Риме лишь немногие люди составляли государство; большинство — рабы, союзники, провинциалы, колонны — были только подданными. В Англии, Фран-

ции, Испании никто и никогда не был только подданным государства, но всегда — его соучастником, его частью. Форма, особенно правовая, этого единства с государством и внутри его в разное время бывала разной. Сильно различались ступени общественной лестницы, классы относительно привилегированные и классы относительно обездоленные; но если проинтерпретировать политическую ситуацию любой эпохи и воскресить ее дух, неизменно окажется, что каждый человек чувствовал себя субъектом государства, его участником и сотрудником.

Государство, каким бы оно ни было — первобытным, античным, средневековым или современным, — это всегда приглашение группой людей других людских сообществ для совместного осуществления какого-то замысла. Замысел, каковы бы ни были его частности, в конечном счете заключается в организации нового типа общественной жизни. Государство и программа жизни, программа человеческой деятельности и поведения, — понятия неразделимые. Различные классы в государстве рождены теми отношениями, на которых ведущая группа строит сотрудничество с другими. Так, античное государство никогда не достигает слияния с другими. Рим понуждает и воспитывает италиков и жителей провинций, но никогда не возвышает их до единства с собой. В самом городе не достигнуто политического сплочения граждан. Вспомним, что в республиканском Риме было, строго говоря, два Рима — сенат и народ. Государственное объединение так и не добилось достаточного взаимодействия между различными группами населения, по-прежнему посторонними и чуждыми друг другу. Поэтому в минуту опасности Империя не могла рассчитывать на патриотизм других и должна была защищаться исключительно своими административно-бюрократическими и военными средствами.

Эта неспособность любого греческого и римского общества к слиянию с другими обусловлена глубокой причиной, которую здесь не место разбирать подробно и которая в конечном счете сводится к одному: то сотрудничество, что является, хотим мы того или нет, сущностью государства, античный человек понимал просто, примитивно и грубо, а именно как дуализм управителей и управляемых. Риму подобало распоряжаться и не подчиняться, остальным — подчиняться и не распоряжаться*. Так государство воплощалось в *romaeum*** , в городское тело, физически ограниченное стенами.

Но у новых народов образ государства утратил вещественность. Раз это программа совместного дела, то и выражается она в чистой динамике — в делании, в общности действия. Поэтому действенной силой государства, политическим субъектом становится всякий, кто годится в дело и предан ему, а кровь, язык, географическая и социальная принадлежность отходят на второй план. Не прежняя общность, давняя, привычная или полузабытая, дает права гражданства, а будущее единство в успешной деятельности. Не то, чем мы были вчера, а то, что мы собираемся сделать завтра, объединяет нас в государство. Отсюда та легкость, с которой политическое объединение на Западе преодолевает рубежи, непреодолимые для государства античного. И европеец

* Подтверждением служит то, что на первый взгляд кажется опровержением, а именно предоставление гражданства всем обитателям Империи. Поскольку предоставлялось оно лишь по мере того, как утрачивало черты политического статуса, превращаясь или просто в повинность и служение государству, или в пустой параграф гражданского права. Другого и не следовало ждать от цивилизации, для которой основополагающим началом было рабство. Для наших «наций» оно было всего лишь пережитком. — *Примеч. автора.*

** Букв.: незастроенная полоса земли по обе стороны городской стены (*лат.*).

рядом с homo antiquus* выглядит как человек, распахнутый будущему, который мысленно переносится в него и оттуда определяет свою позицию в настоящем.

Таким образом, политическая направленность неумолимо ведет ко все более широкому объединению, которому в принципе ничто не может воспрепятствовать. Возможности слияния безграничны. Слияния не только народа с народом, но даже — и в этом главное своеобразие национального государства — слияния социальных классов внутри каждого политического единства. Чем больше территориально и этнически растет государство, тем больше крепнет внутреннее сотрудничество. Национальное государство демократично по самой своей природе, более глубинной и решающей, чем внешние формы правления.

Любопытно, что все, кто полагает нацию изначальной общностью, сходятся на формуле Ренана как наилучшей, и только потому, что в ней к языку, крови и общим традициям добавляется новый компонент, именуемый «повседневным плебисцитом». Но всем ли понятно это выражение? И нельзя ли придать ему сегодня смысл, обратный тому, что вложил Ренан, и тем не менее оказаться ближе к истине?

8

«Общая слава в былом, общее согласие в настоящем, совместные великие свершения, совместная воля к новым свершениям — вот главные условия существования народа... Позади — бремя славы и ошибок, впереди — единая программа действий. Жизнь нации — это повседневный плебисцит».

* человек античный (лат.).

Такова знаменитейшая сентенция Ренана. Чему она обязана редким успехом? Несомненно, удачной концовке. Мысль, что нация — повседневный плебисцит, звучит для нас как весть о свободе. Кровь, язык и общая память статичны, фатальны, инертны и косны. Это оковы. Если бы нация заключалась только в них, она была бы позади и не требовала бы от нас ровным счетом ничего. Это было бы то, что дается, а не то, что создается. И даже защищать ее в минуту опасности не имело бы смысла.

Вольно или невольно человеческая жизнь вечно захвачена чем-то грядущим. Ежесекундно мы прикованы к тому, что будет. Поэтому жизнь — поистине непрерывный и неустанный труд. Почему делать, вообще делать, безразлично что, означает осуществлять будущее? Даже если мы просто вспоминаем. Работа памяти в такие минуты спешит приблизить, немедленно обрести что-то новое, хотя новое — лишь радость от воскрешения прошлого. Эта непритязательная и нелюдимая радость только что, мгновение назад, представлялась нам как желанное будущее; на него и работала память. Ясно одно — буквально все обретает для человека смысл только как функция будущего*.

* Согласно сказанному, человек фатально футуристичен — иными словами, он живет преимущественно в будущем и преимущественно будущим. Тем не менее я противопоставляю античного человека европейцу, утверждая, что первый относительно замкнут для будущего, а второй относительно распахнут. Может показаться, что я сам себе противоречу. Но противоречие мнимо, если не упустить из виду, что человек — существо двойное: с одной стороны, он — то, что есть, а с другой — это его представление о себе, более или менее с ним совпадающее. Разумеется, наши представления, пристрастия и желания могут упразднить нашу подлинную суть, но могут осложнить и преобразить ее. Античный человек и европеец равно озабочены грядущим, но греко-римляне подчиняют его власти прошлого, а мы предоставляем наибольшую автономию будущему, новизне как таковой. Этот антагонизм, обусловленный не природой, а пристрастиями, позволяет называть европейца футуристом, а античного человека — архатом. Знаменательно, что едва европеец пробудился и осознал себя, как тут же назвал свою жизнь новым временем. Новым — значит отрицающим старое. Еще в конце XIV века (притом в самых жгучих вопросах дня, подчеркивается современность и заходит, например, речь о *devotio moderna* (новом богочестии), своего рода авангардизме в «мистическом богословии». — *Примеч. автора.*

Если бы нация держалась лишь настоящим и прошлым, никто бы не стал защищать ее от опасности. Утверждать обратное — это лицемерие или недомыслие. Происходит иное — национальное прошлое отбрасывает отсветы своего обаяния, подлинного или мнимого, в завтрашний день. Нам кажется желанным то будущее, в котором наша нация продолжала бы жить. Потому-то мы и встаем на ее защиту, а не в силу общности языка, крови и памяти. Защищаясь, мы защищаем наше завтра, а не наше вчера.

В словах Ренана сквозит именно это: нация — лучший залог завтрашнего дня. Плебисцит голосует за будущее. И то, что будущее оказывается продлением прошлого, ничуть не меняет сути дела, а единственно лишь доказывает, что и определение Ренана тоже архаично.

Следовательно, государственное начало, воплощенное в национальном государстве, ближе к самой идее государства, чем античный полис или арабский «род», ограниченный узлами крови. Действительно, национальное сознание отягчено немалым балластом исторических, территориальных и кровных атавизмов, но тем удивительнее видеть, как неизменно побеждает иное начало, объединяющее людей притягательной программой жизни. Больше того, я бы сказал, что этот балласт прошлого и относительное пристрастие к чисто природным основам не изначальноны в европейском сознании, а обязаны тому книжному толкованию, которое дал национальной идее романтизм. Если бы подобный взгляд на национальность утвердился в Средние века, то и Франция, и Англия, и Испания, и Германия так и остались бы недоношенными*. Поскольку упомянутый взгляд путает то, что движет и создает нацию, с тем, что укрепляет и сохраняет ее. Отнюдь не патриотизм — и

* Национальный дух чисто хронологически один из симптомов романтизма; оба они появляются в конце XVIII века. — *Примеч. автора.*

скажем это сразу и без обиняков — создал нации. Утверждать обратное — наивность, о которой я уже упоминал и которую сам Ренан допустил в своей прославленной формуле. Если для существования нации необходимо, чтобы люди держались за свое общее прошлое, позволю себе спросить, как бы мы отнеслись к ним в те самые времена, которые сегодня стали для нас упомянутым прошлым. Очевидно, это общее прошлое должно было прекратиться, бесследно пройти, чтобы они наконец могли сказать: «Мы — нация». Не вредит ли здесь корпоративный грех филолога, архивиста, профессиональный угол зрения, который мешает видеть действительность, если она позавчерашняя? Филолог действительно, чтобы стать филологом, нуждается в прошлом, но нация не нуждается. Напротив: прежде чем занять общее прошлое, надо создать эту общность, а прежде чем создать ее, надо ее вообразить, захотеть, замыслить. И чтобы нация была, достаточно одного помысла, даже если она не сумеет осуществить его и потерпит крах, как не однажды случалось. Такие нации — например бургундцев, можно было бы назвать неудавшимися.

У жителей Центральной и Южной Америки общее прошлое с испанцами, общий язык, общая кровь, и тем не менее они не образуют единой нации. Почему? Не хватает одного и, видимо, самого главного — общего будущего. Испания не сумела создать такую программу коллективного будущего, которая увлекла бы эти близкие народы. И зоологическое родство не помогло. Плебисцит отклонил Испанию, и не выручили ни архивы, ни предки, ни память, ни «отчий край». Все это сплачивает, когда есть главное, и только тогда*.

* Сегодня мы свидетели эксперимента, грандиозного и четкого, как лабораторный опыт, — нам предстоит увидеть, удастся ли Англии удержать в державном единстве различные части своей империи, предложив им привлекательную программу будущего сотрудничества. — *Примеч. автора.*

Итак, я вижу в национальном государстве историческую структуру, родственную плебисциту. Все, чем оно представляется помимо этого, недолговечно и изменчиво, ограничивается содержанием, или формой, или мерой сплочения, избранной плебисцитом. Ренан нашел магическое слово, проливающее свет. Как рентгеновский луч, оно высвечивает потаенную суть нации, состоящую из двух ингредиентов: первый — это план совместного участия в общем замысле и второй — сплочение увлеченных замыслом людей. Эта общая увлеченность и создает ту внутреннюю прочность, которая отличает национальное государство от всех существовавших до него: если там единство создавалось и поддерживалось внешним давлением государства на разнородные группировки, то здесь державная мощь рождается из самопроизвольной и глубинной сплоченности «подданных». В действительности подданные и есть государство и не ощущают его — вот в чем небывалая новизна национального сознания — как постороннюю силу.

И все же Ренан сводит на нет или почти на нет свою удачу, придавая плебисциту ретроспективный смысл, относящийся к уже готовой нации, которую надлежит увековечить. Я бы предпочел поменять знак и применить формулу к нации *in statu nascendi**. Это кардинальный угол зрения. Ибо в действительности нация никогда не готова. В этом национальное государство отлично от остальных. Нация всегда или слагается, или разлагается. *Tetrium non datur*** . Сплоченность или обретается, или утрачивается, смотря по тому, насколько жизнеспособен замысел, который воплощает в данную минуту государство.

* в состоянии зарождения (*лат.*).

** Третьего не дано (*лат.*).

Поэтому было бы крайне полезно вспомнить целый ряд объединительных замыслов, которыми вдохновлялись человеческие массы Запада. Тогда бы выяснилось, насколько жили этим европейцы — не только в общественном плане, но и в самом житейском, — насколько они «входили в форму» или распускались в зависимости от того, была впереди перспектива или нет.

И еще одно стало бы ясным. Античная государственность именно потому, что она не требовала цементирующего согласия со своими замыслами, сплочения вокруг них, именно потому, что само государство представляло раз навсегда очерченный замкнутый круг — род или город, — была практически безграничной. Персы, македонцы или римляне могли объединить под своей властью часть мира. Поскольку единство не становилось внутренним, подлинным и окончательным, достаточным его условием была военная и административная удачливость завоевателя. Но на Западе национальное объединение неизбежно проходило ряд этапов. Следовало бы больше удивляться тому, что в Европе не возникло ни одной империи, соизмеримой с теми, которые были созданы персами, Александром или Августом.

В Европе процесс формирования наций происходил в такой последовательности. Первый этап. Тот сугубо европейский инстинкт, который побуждает мыслить государство как слияние разных народов для политического и духовного сотрудничества, сначала набирает силу среди племен наиболее близких географически, этнически и лингвистически. Не потому, что эта близость — основа нации, а потому, что близкие различия легче преодолеваются. Второй этап. Период консолидации, когда другие народы, за пределами новорожденного государства, воспринимаются как чужие и более или ме-

нее враждебные. Это период, когда национальное сознание приобретает оттенок нетерпимости, замыкается внутри государства, — в общем, то, что сейчас мы называем национализмом. Но в действительности, политически воспринимая других как чужеземцев и соперников, экономически, интеллектуально и духовно с ними сотрудничают. Националистические войны ведут к уравниванию материальных и духовных различий. Традиционные враги становятся исторически сходными. Мало-помалу на горизонте брезжит сознание того, что эти враги — такие же люди, как и мы. Тем не менее для нас они продолжают оставаться чужими и враждебными. Третий этап. Государство окончательно упрочилось. И возникает новая цель — присоединить народы, с которыми еще вчера враждовали. Растет убеждение, что по духу и складу они родственны нашему собственному народу и что вместе мы составим национальный союз перед лицом народов более отдаленных и все еще чуждых. Так вызревает новая национальная идея.

Поясню примером. Принято думать, что Испания — *Spania* — была национальной идеей еще во времена Сида, и столь долгую беременность удлиняют еще на несколько столетий, ссылаясь на святого Исидора, упоминавшего «мать-Испанию». Налицо, по-моему, грубейшее искажение исторической перспективы. Во времена Сида только Леон и Кастилия готовы были слиться в государство, и в этом леоно-кастильском единении и состояла тогда национальная идея, политически осуществимая. *Spania*, напротив, была плодом учености, понятием преимущественно книжным и, так или иначе, одной из тех плодотворных идей, что заронило в западную почву римское владычество. Под началом Рима «испанцы» привыкли быть административным целым, византийской епархией. Но эта ад-

министративно-географическая общность была не внутренней установкой, а внешним подчинением и стала своего рода неутолимой потребностью.

Как бы ни хотелось датировать испанскую национальную идею одиннадцатым веком, приходится признать, что она не достигала тогда даже той силы и определенности, которой обладало для эллинов четвертого века понятие «Эллада». А ведь Эллада так и не стала подлинно национальной идеей. Реальное историческое сопоставление выглядит так: Эллада для эллинов IV века и *Spania* для «испанцев» XI и даже XIV века была тем же, чем Европа для «европейцев» XIX века.

Отсюда видно, что задачи национального объединения возникают так же своевременно, как звуки мелодии. Вчерашнее сближение должно дожидаться завтрашнего дня, чтобы вызвать бурю национальных чувств. Зато дождется оно почти наверняка.

Сейчас для европейцев наступает пора, когда Европа может обернуться национальной идеей. И куда менее утопично верить в это сегодня, чем предрекать в XI веке единую Испанию. Чем ревностней национальное государство Запада хранит свою подлинную сущность, тем неизбежнее оно высвободит ее в едином и грандиозном государстве континентальном.

9

Едва западные нации раздуваются до современных размеров, как вокруг них и под ними, словно фон, возникает Европа. Такова единая панорама, где они движутся с начала Возрождения и сами составляют эту ев-

ропейскую панораму, которую начинают уже безотчетно отделять от своего воинственного многообразия. Франция, Англия, Испания, Италия, Германия сражаются друг с другом, заключают союзы, расторгают их, создают новые. Но и война, и мир — все это, так или иначе, сосуществование, то, чего Рим ни войной, ни миром не сумел добиться от кельтиберов, галлов, бриттов и германцев. История на первый план выдвигает распри и вообще политику, которая приносит поздние плоды единства, но пока на одном клочке земли дерутся, на ста торгуют с неприятелем, обмениваются идеями, художественными формами и религиозными догматами. Кажется, что весь этот воинский чад — лишь дымовая завеса, за которой еще упорней делают свое дело кроткие полипы мира, переплетая судьбы враждебных народов. Сходство душ растет с каждым поколением. Или — говоря иначе, построже и с оглядкой — французская душа, и немецкая, и испанская были, есть и будут сколь угодно разными, но психологически они строятся по одному замыслу, в одном архитектурном стиле и, главное, из одного строительного материала. Религия, наука, право, искусство, общественные и чувственные вкусы становятся общими. Но ведь эта духовная пища — то, чем живут. И родство в итоге оказывается большим, чем если бы все души кроились по одной мерке.

Если ревизовать сегодня наш умственный багаж — взгляды, убеждения, пристрастия, догадки, — нетрудно убедиться, что львиную долю всего этого испанцу дала не Испания, как и французу не Франция, но общий европейский фон. В итоге сегодня в каждом из нас весомей то, что в нас есть европейского, а не наши французские, испанские и тому подобные особенности. Если бы воображаемый экспериментатор заставил нас жить лишь

тем, что в нас «национально», и фантастическим способом ампутировал у рядового француза все те привычки, мысли и чувства, что внушены ему другими народами континента, результат был бы ужасающим. Оказалось бы, что бедняге нечем жить, что все его внутреннее достояние на четыре пятых состоит из бесхозного европейского скарба.

Не нам, обитателям этой части планеты, гадать, нет ли впереди чего позаманчивей, чем исполнение завета, вот уже четыре столетия заключенного в слове «Европа». Но помехой этому старые национально-государственные предрассудки, взгляд на нацию как на прошлое. Неужели европейцы — тоже дети Лотовой жены и твердо намерены творить историю, оглядываясь назад? Пример Рима и вообще античности должны бы предостеречь нас; крайне трудно людям определенного склада избавиться от идеи государства, раз навсегда засевшей в голове. К счастью, идея национального государства, которую сознательно или безотчетно воплощали европейцы, далека от той книжной, филологической идеи, которую им проповедовали.

Подведем итоги сказанному. Мир сегодня глубоко деморализован, и один из симптомов этого — разнуданный бунт масс, а источником недуга стала Европа. Причин тому много, но одна из главных — перераспределение власти, которую прежде осуществлял над собой и остальным миром наш континент. Европа больше не уверена, что правит, и остальной мир тоже. Историческая верховная власть распалась.

Уже нет «полноты времени», поскольку она предполагает ясное, однозначное и предрешенное будущее, как это было в XIX веке. Тогда не сомневались в том, что

произойдет завтра. Но сейчас опять распахнуты неведомые горизонты, ибо неизвестно, кто будет править, какой будет власть над миром. Что означает: какой народ или группа народов, то есть какой этнический тип, а следовательно — какая идеология, какой свод правил, пристрастий и жизненных установок...

Неизвестно, какой новый источник гравитации вскоре рассортирует и упорядочит человеческую взвесь, и потому жизнь во всем мире погрузилась в непристойное безвременье. Все, что сегодня творится в общественной и частной жизни, вплоть до самого личного, буквально все, за исключением отдельных областей знания, все временно, на скорую руку, все только отсрочка. Кто не верит, пусть оглянется на все то, что ставится сейчас во главу угла, провозглашается, внедряется, перевозносится. Все готово исчезнуть еще быстрее, чем возникло. Все, от культа спорта (культа, а не самого спорта) до политического насилия, от «нового искусства» до солнечных ванн на смехотворных модных пляжах. Все это беспочвенно, потому что целиком выдуманно — в худшем смысле слова, низводящем фантазию до пустой причуды. Ничто не вышло из недр самой жизни; ни в чем нет ни подлинной нужды, ни подлинного жара. Короче, все это подделка под жизнь. Все противоречит непритворному складу жизни и одновременно подделывается под него. А жизнь лишь тогда неподдельна, когда все в ней вызвано насущной и непреложной потребностью. Сейчас нет ни одного политика, который ощущал бы свой путь неизбежным, и чем размашистей его жесты, тем они вздорней, тем меньше в них судьбы. Нет жизни подлинней, природней, самопроизвольней, чем

та, что складывается из неотвратимых событий. А все, что в наших руках, все, что мы вольны принять, отвергнуть, заменить чем-то другим, — все это подделки.

Сегодняшняя жизнь — это плод междуцарствия, пустота между двумя формациями исторической власти — той, что была, и той, что назревает. Оттого она временна по самой своей сути. Ни мужчины толком не знают, чему им по-настоящему служить, ни женщины — каких мужчин им по-настоящему любить.

Европейцы не способны жить, если они не захвачены каким-то великим связующим замыслом. Когда его нет, они опускаются, обмякают, поддаются душевной усталости. Нечто подобное уже происходит сейчас. Те единства, что до сих пор именовались нациями, приблизительно век назад достигли своего апогея. С ними нечего больше делать, кроме одного — преодолеть их. Сегодня это уже только прошлое, которое копится под ногами европейца, обступает, угнетая и отравляя его. При большей, чем когда-либо, жизненной свободе особенно ощутимо, как удушлив воздух внутри каждой нации, ибо это воздух тюрьмы. Национальные государства, с их когда-то вольной атмосферой открытости и свежести, обернулись захолустьем и превратились в «интерьер».

Все ощущают необходимость новых основ жизни. Но некоторые, как обычно и происходит при подобных кризисах, пытаются спасти положение, искусственно углубляя и доводя до крайности именно отжившую основу. В этом объяснение «националистического» взрыва в наши дни. И так, повторяю, происходило всегда. Последний жар дольше гаснет. Последний вздох — самый глубокий. Границы перед отмиранием болезненно воспаляются — и военные, и экономические.

Но всякий национализм — тупик. Метя в завтрашний день, упираются в стену. Здесь путь обрывается и не ведет никуда. Национализм — это шараханье в сторону, противоположную национальному началу. Оно собирательно, а национализм исключителен и лишь отторгает. Однако в пору упрочения нации он в почете и играет положительную роль. Но в Европе все уже слишком упрочено, и сегодня национализм не больше чем мания, способ уклониться от великих замыслов и творческого долга. Та простота, с которой он орудует, и тот сорт людей, которых воспламеняет, с головой выдают его враждебность историческому творчеству.

Только решимость европейских народов сплотиться в одну великую нацию могла бы оживить пульс Европы. К ней вернулась бы вера в себя и попутно — требовательность к себе и дисциплина.

Положение дел намного хуже, чем принято считать. Годы идут, и растет опасность, что европеец смирится с тем минорным существованием, в котором прозябает, что он разучится управлять и другими, и собой. Тогда все его достоинства и дарования развеются прахом.

Но объединению Европы противятся, как и всегда при строительстве государства, консервативные классы. Это грозит им катастрофой, ибо к абстрактной опасности, что Европа деморализуется окончательно и утратит всю свою историческую энергию, добавляется весьма конкретная и неминуемая. Когда в России победил коммунизм, многие уверились, что красная лава затопит весь Запад. Я не разделял этих страхов. Напротив, я в те годы писал, что русский коммунизм — это снадобье, противоположанное европейцам, человеческой касте, поставившей все свои силы и все свое рвение на карту Индивидуальности. Время прошло, и вчерашние паникеры

обрели спокойствие. Обрели только сейчас, когда самое время его утратить. Потому что сейчас победный вал коммунизма действительно может затопить Европу.

Я исхожу из следующего допущения: сейчас, как и прежде, русский символ коммунистической веры не привлекает европейцев, не убеждает и не рисует им желанного будущего. И не от убогости доводов, которыми его апостолы, упрямые, глухие и недобросовестные, как и все апостолы, привыкли жонглировать. Западные буржуа отлично знают: кто живет только на ренту и передал ее детям, тот и без коммунизма долго не протянет. Европейский иммунитет к большевистской вере обязан не догматам и уж тем более не страху. Сейчас нам кажутся довольно смехотворными те произвольные допущения двадцатилетней давности, на которых Сорель строил свою тактику насилия. Буржуа далеко не так боязливы, как ему думалось, и сегодня склонны к насилию куда больше, чем рабочие. Ни для кого не тайна, что если в России большевизм победил, то победил потому, что в России не было буржуазии*. Фашизм, явление мелкобуржуазное, превзошел насилием все рабочее движение, вместе взятое. В общем, иная причина мешает европейцу на всех парах двинуться к коммунизму. Причина изначальная и простая — ему не кажется, что коммунистическая организация прибавит человеку счастья.

И все же, повторяю, более чем вероятно, что в скором времени Европа станет восторгаться большевизмом. И не благодаря ему, а несмотря на него.

Представим, что исполинский «пятилетний план» осуществит цели, преследуемые правительством, и гигант-

* Одно это уже убеждает раз и навсегда, что социализм Маркса и большевизм — два исторических феномена, у которых едва ли есть общие точки соприкосновения. — *Примеч. автора.*

ская русская экономика будет не только восстановлена, но и расцветет. Какова бы ни была суть большевизма, это грандиозный пример человеческого замысла. Люди взяли на себя судьбу переустройства, и напряженная жизнь их — подвижничество, внушенное верой. Если мировая материя, глухая к порывам человеческого духа, не задушит это начинание, оставив ему хоть какую-то степень свободы, отсвет великого замысла просияет на европейском горизонте, как новорожденная звезда. Неужели Европа, влача свое полурастительное существование, дряблкое и недостойное, без новой жизненной программы, сумеет устоять перед заразной силой такого вдохновляющего примера? Надо плохо знать европейца, чтобы думать, будто он не загорится, услышав этот призыв к новому делу и не найдя под рукой другого, но столь же высокого знамени, достойного быть поднятым наперекор. Не так уж невероятно, что европеец, с его жаждой служить чему-то, что сделает жизнь осмысленной, и уйти от пустоты своего существования, подавит внутренний протест и будет захвачен пусть не самим коммунизмом, но его нравственным порывом.

В строительстве Европы как великого национального государства я вижу единственное, что можно противопоставить победе «пятилетнего плана».

Знатоки политэкономии уверяют, что такая победа маловероятна. Но слишком низко было бы антикоммунистам уповать на материальные трудности противника. Его крах означал бы всеобщее поражение всех и вся, крах современного человека. Коммунизм — это крайне странная нравственность, но это нравственность. Не достойней ли и плодотворней противопоставить его славянской морали обновленную западную, новый жизненный стимул?

XV

ПЕРЕХОДЯ К СУТИ ДЕЛА

Суть такова: Европа утратила нравственность. Прежнюю массовый человек отверг не ради новой, а ради того, чтобы, согласно своему жизненному складу, не придерживаться никакой. Что бы ни твердила молодежь о «новой морали», не верьте ни единому слову. Утверждаю, что на всем континенте ни у кого из знатоков нового *ethos** нет и подобия морали. И если кто-то заговорил о «новой» — значит, замыслил новую пакость и ищет контрабандных путей**.

Так что наивно укорять современного человека в безнравственности. Это не только не заденет, но даже польстит. Безнравственность нынче стала ширпотребом, и кто только не щеголяет ею.

Если отвлечься, как мы и делали, от пережитков прошлого — христиан, идеалистов, старых либералов и т.д., — то среди современных альянсов не найдется ни одного, который не исходил бы из убеждения, что за ним числятся все права и ни единой обязанности. Не важно, рядятся ли при этом в реакционеров или революционеров: под любой личиной и при любом удобном случае решительно отбрасывают обязанности и притязают, сами не ведая почему, на неограниченные права.

Что бы ни одушевляло, все сводится к одному и становится предлогом не считаться ни с кем и ни с чем. Если кто-то играет в реакционера, то наверняка для того, чтобы под видом спасения отечества и государства сров-

* нравы (*греч.*).

** Не знаю, найдется ли сейчас десяток людей, рассеянных по миру, которые видят воочию ростки того, что со временем действительно может стать новой моралью. И уж, конечно, не эти люди делают погоду. — *Примеч. автора.*

нять с землей все остальное и с полным правом топтать ближнего, особенно если тот чего-то стоит. Но и в революционеров играют с той же целью: наружная одержимость судьбой угнетенных и социальной справедливостью служит маской, освобождающей от досадной обязанности быть правдивым, терпимым и, главное, уважать человеческие достоинства. Я знаю немало людей, которые вступили в ту или иную рабочую партию лишь затем, чтобы обрести внутреннее право презирать интеллигенцию и не смотреть на нее снизу вверх. Что же до диктатур, то мы уже налюбовались, как там льстят толпе и топчут все, что выше ее уровня.

Отвращением к долгу отчасти объясняется и полусмешной-полупостыдный феномен нашего времени — культ «молодежи» как таковой. Все от мала до велика подались в «молодые», прослышав, что у молодых больше прав, чем обязанностей, поскольку последние можно отложить в долгий ящик и приберечь для зрелости. Молодость как таковую всегда освобождали от тяжести свершений. Она жила в долг. По-человечески так и должно быть. Это мнимое право ей снисходительно и ласково дарят старшие. И надо же было настолько одурманить ее, что она и впрямь сочла это своим заслуженным правом, за которым должны последовать и все прочие заслуженные права.

Как ни дико, но молодостью стали шантажировать. Вообще мы живем в эпоху всеобщего шантажа, у которого два облика с дополняющими друг друга гримасами — угрозой насилия и угрозой глумления. Обе служат одной цели и равно пригодны для того, чтобы людская пошлость могла и не считаться ни с кем и ни с чем.

Поэтому не стоит облагораживать нынешний кризис, видя в нем борьбу двух моралей или цивилизаций, обреченной и новорожденной. Массовый человек попросту лишен морали, поскольку суть ее — всегда в подчинении

чему-то, в сознании служения и долга. Но слово «попросту», пожалуй, не годится. Все гораздо сложнее. Попросту взять и избавиться от морали невозможно. То, что грамматически обозначено как чистое отсутствие — безнравственность, — не существует в природе. Если вы не расположены подчиняться нравственным устоям, будьте любезны подчиниться иной необходимости и *velis polis** жить наперекор им, а это уже не безнравственность, но противонравственность. Не просто отрицание, но антимораль, негатив, полный оттиск морали, сохранивший ее форму.

Как же умудрились уверовать в антиморальность жизни? Несомненно, к этому и вела вся современная культура и цивилизация. Европа пожинает горькие плоды своих духовных шатаний. Она стремительно катится вниз по склону своей культуры, достигшей невиданного цветения, но не сумевшей укорениться.

В этой работе я попытался обрисовать определенный тип человека и главным образом его взаимоотношения с той цивилизацией, которой он порожден. Это было необходимо потому, что персонаж моей книги знаменует собой не торжество новой цивилизации, а лишь голое отрицание старой. И не надо путать его психограмму с ответом на главный вопрос: каковы же коренные пороки современной европейской культуры? Ведь очевидно, что ими в конечном счете и обусловлено сегодняшнее преобладание этой человеческой особи.

Но такой ответ ввиду непомерной трудности вопроса выходит за рамки книги. Понадобилось бы развить во всей полноте ту концепцию человеческого существования, которая здесь едва намечена и звучит побочно. Об этом говорится вскользь и вполголоса, а скоро, быть может, придется кричать.

1930

* волей-неволей (лат.).

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ «ВОССТАНИЯ МАСС»

Эта книга — если признать ее книгой — датируется... Публиковаться она начала в 1926 году в мадридской газете, и на содержании, слишком человеческом, не могло не сказаться время. К тому же бывают периоды, когда мир убыстряется и движется с головокружительной скоростью. На нашу долю выпала одна из таких эпох, чересполосица подъемов и падений. Поэтому события обогнали книгу. Немало предвидений, в ней сделанных, вскоре сбылось и уже стало прошлым. Кроме того, за годы хождения этой книги вне Франции многие ее положения дошли до французского читателя в анонимном виде и успели стать общим местом. Словом, налицо прекраснейшая возможность совершить доброе дело, самое гуманное в наши дни, — не печатать лишнюю книгу. Сам я так и поступал — вот уже пять лет, как издательство Stok предложило мне перевести эту вещь. Однако я убедился, что органическое целое изложенных в ней мыслей французскому читателю неведомо, и верно оно или нет, но предложить его для читательских размышлений и критики представляется нелишним.

В последнем я не слишком уверен, но это не столь уж и важно. Важно, однако, чтобы к чтению приступали

без напрасных надежд. Перед вами всего-навсего ряд статей, опубликованных в мадридской газете. Как почти все мной написанное, эти страницы адресованы немногим испанцам, с которыми свела меня судьба. Кто поручится, что мои слова, сменив адресата, донесут до французов то, что собирались? Трудно рассчитывать на удачу, особенно мне, убежденному, что говорить — занятие призрачное, куда призрачней, чем принято думать. Впрочем, как и все или почти все, что делает человек. Речь именуется средством для выражения наших мыслей. Но всякое определение верно, если оно иронично и подразумевает исключения, а воспринятое иначе — ведет к печальным недоразумениям. Так уж повелось.

Не суть важно, что речь — это еще и средство скрывать мысли, то есть попросту лгать. Ложь не могла бы существовать, не будь наша речь изначально и обычно искренней. Фальшивая монета ходит, опираясь на доверие к полноценной; в конце концов обман — лишь убогий прихлебатель честности. Нет, не этим опасно вышеупомянутое определение — опасно то благодушие, с которым мы привыкли его выслушивать. Ведь само по себе это определение не уверяет нас, что с помощью языка мы можем выразить все наши мысли достаточно адекватно. Этого оно нам не обещает, но и не позволяет также взглянуть в лицо истине: люди не понимают друг друга и, обреченные на фатальное одиночество, изнемогают от усилий достучаться к ближнему. Язык — одно из этих усилий, способное иногда с наименьшей приблизительностью выявить то, что творится у нас внутри. Только и всего. Но обычно мы не пользуемся этими исключениями. Наоборот, когда человек раскрывает рот, он делает это потому, что верит, будто может высказать все, что думает. Это иллюзия. Язык не дает нам такой

возможности. Он передает, более или менее, часть того, что мы думаем, и ставит неодолимую преграду перед остальным. Если для математических изложений и доказательств он еще пригоден, то применительно к физике уже неточен и недостаточен. И, соответственно, когда речь заходит о более важном, более человеческом, более «реальном», неточность, неясность и неуклюжесть языка стремительно нарастает. Следуя застарелому предрассудку, мы говорим и слушаем с такой простодушной уверенностью, что нередко понимаем друг друга хуже, и намного хуже, чем в те минуты, когда молча силимся угадать чужие мысли.

Упускается из виду, что говорить — это не просто говорить что-то. Всегда кто-то говорит кому-то, всегда налицо передатчик и приемник, отнюдь не сторонние к значению слов. И значение меняется, когда меняются они. *Duo si dicunt, non est idem**. Слово условно. По сути своей речь — это диалог, и все иные виды речи уступают ему в действительности. Думаю, что книга лишь тогда хороша, когда втягивает нас в потаенный диалог и мы чувствуем, что автор умеет конкретно видеть своего читателя, а последний способен ощутить руку, которая тянется к нему из-за строк, чтобы приласкать либо дать пощечину.

Злоупотребление словом подорвало к нему доверие. Злоупотребление, как водится, состояло в неосторожном употреблении, без знания возможностей инструмента и пределов этих возможностей. Почти два века считалось, что говорить — значит говорить *urbī et orbī***, то есть говорить всем и никому. Я ненавижу эту манеру и страдаю, когда не знаю конкретно, кому я говорю.

* Двое, говоря одно, говорят разное (*лат.*).

** городу и миру (*лат.*).

Рассказывают, не настаивая, впрочем, на достоверности, что в юбилей Виктора Гюго были устроены торжества в Елисейском дворце, где соревновались в поздравлениях представители разных стран. Великий Гюго стоял посреди приемного зала в позе статуи, опершись локтем о камин. Посланники представляли перед публикой и вручали торжественный адрес гению Франции. Церемониймейстер голосом Стентора объявлял: «Представитель Англии!» И Виктор Гюго с драматической дрожью в голосе, закатив глаза, восклицал: «Англия! О Шекспир!» Глашатай продолжал: «Представитель Испании!» И Виктор Гюго возводил очи горе: «Испания! О Сервантес!» Герольд: «Представитель Германии!» И Виктор Гюго: «Германия! О Гете!»

И вдруг очередь дошла до невзрачного господина, плюгавого, обрюзгшего и слегка косолапого. Церемониймейстер объявил: «Представитель Месопотамии!» Виктор Гюго, дотоле невозмутимый и неуязвимый, осекся. Его глаза стали тревожно блуждать, словно он искал что-то в недрах мироздания и не находил. Однако нашел и вновь почувствовал себя хозяином положения. Кургузого представителя он почтил с тем же уверенным пафосом: «Месопотамия! О человечество!»

Упоминаю об этом с единственной целью — заверить, без вышесказанной торжественности, что я никогда не писал для Месопотамии и не говорил с человечеством. Апелляция к человечеству, самая величаяя и потому самая низменная черта демократии, вошла в моду где-то к 1750 году благодаря увлекшимся интеллектуалам, которые заблуждались относительно себя и своих размеров и, будучи по роду деятельности ораторами, людьми логоса, употребляли последний без оглядки и почтения, забыв, что слово — таинство и требует особого подхода.

* * *

Утверждение, что у слова слишком ограниченный радиус действия, казалось бы, опровергается тем фактом, что эта книга нашла читателей почти во всех европейских странах. Думаю, однако, что сей факт говорит скорее о другом и крайне серьезном — о пугающе однородном состоянии, к которому скатывается Запад. Со времени появления книги благодаря механизму, в ней же и описанному, однородность обрела уже тревожный масштаб. Говорю «тревожный» потому, что переживаемые какой-либо страной трудности тиражируются и множат свое гнетущее воздействие, поскольку каждый, кто их терпит, убеждается, что вряд ли есть уголок в Европе, где не творится абсолютно то же. Прежде, чтобы проветрить застойный воздух страны, достаточно было распахнуть окна в соседнюю. Сегодня это бесполезная затея, поскольку в смежном помещении так же затхло. Отсюда гнетущее чувство удушья. Иов, этот отчаянный *ripse-sans-gire**, вопрошал своих доброжелателей, странствующих по миру купцов: «Но где премудрость обретается? И где место разума?».

Тем не менее в этой уравнительности различаются две величины, разнонаправленные и полярные по своей сути.

Рой европейских народов, влетевший в историю с развалин античного мира, всегда жил двойственной жизнью. Сложилось так, что хотя каждый народ обретал свой особый облик, между ними, или скорей над ними, выростал общий свод идей, пристрастий и стремлений. Больше того. Ход событий, делавший народы все более однородными и одновременно все более разрозненными, может быть понят лишь во всей его парадоксально-

* каверзник (*фр.*).

сти. Потому что однородность не противилась разнообразию. Напротив, она лишь расцветала всякий раз, как появлялось новое единообразующее начало. Христианская идея рождает национальные церкви, тень Римской империи вызывает к жизни разнообразные формы государства, «возрождение классиков» в XV веке разводит литературные дороги во все концы, унитарный взгляд на человека как на «чистый разум» создает различные стили мышления вплоть до самых крайних математических абстракций. И наконец, в довершение всего, даже сумасбродная идея XVIII века, согласно которой все народы должны иметь одинаковое устройство, приводит к романтическому результату — пробуждению национального самосознания, что ведет каждого из нас к осознанию собственного призвания.

И для всех этих народов, именуемых европейскими, жить означало всегда — по крайней мере начиная с XI века, с Оттона III — двигаться и действовать в общем пространстве. Другими словами, для каждого из них существовать означало сосуществовать с остальными. Безразлично, становилось ли это сосуществование мирным или воинственным. У внутриевропейских войн почти всегда была любопытная черта, делавшая их похожими на домашние скандалы. Они не замыслили стереть врага с лица земли и были скорее войнами состязательными, борьбой соперников, подобной потасовкам парней или спорам наследников. Каждый на свой лад, но все шли к одному. *Eadem sed aliter**. В общем, как говорил Карл V о Франциске I: «Мой кузен Франциск и я полностью единодушны — оба хотим Милан».

Вовсе не обязательно, чтобы общее историческое пространство, где западный человек чувствует себя как дома,

* То же, да не то (*лат.*).

совпадало с тем физическим пространством, которое география именует Европой. Историческое пространство измеряется длительностью сосуществования, это пространство общественное. Сосуществование и общество — равнозначные понятия. Общество создается самим фактом сосуществования. Последнее неизбежно и самопроизвольно вырабатывает обычаи, нравы, язык, право и политический строй. Одной из грубейших ошибок «нового» мышления, от которого мы все еще не можем отмыться, было то, что оно путало общество с сообществом. Но общество и объединение — понятия едва ли не полярные. Общество не создается по добровольному согласию. Наоборот, всякое добровольное согласие предполагает существование общества, людей, которые сосуществуют, и согласие лишь уточняет ту или иную форму этого сосуществования, этого общества, которое уже имеется. Полагать общество договорным, то есть юридическим, объединением — нелепейшая попытка поместить телегу впереди лошади. Потому что право, реальность «права», а не соображения на этот счет философа, юриста или демагога — это, выражаясь метафорически, непроизвольная секреция общества, продукт его жизнедеятельности, и не может быть чем-то иным. Прошу прощения за категоричность, но добиваться, чтобы право устанавливало отношения между людьми, еще не составившими общества, значит иметь самое курьезное представление о праве.

Неудивительно, однако, что такое представление господствует, потому что европейцы — и в этом одна из главных бед нашего времени — перед лицом жесточайших потрясений оказались плохо экипированными, с самыми нескладными и устарелыми понятиями об обществе, коллективности, личности, жизнеустройстве,

законах, справедливости, революционности и т.д. Немало смут нашего века — от несоответствия между высочайшим уровнем физических идей и скандальным состоянием наших «гуманитарных знаний». Таковые и у министра, и у профессора, у знаменитого физика и литератора — на уровне местечкового парикмахера. Надо ли удивляться, что последний задает тон везде и во всем?

Но вернемся к сути. Я пытался внушить, что европейские народы — общество в том же смысле слова, какой применяется к каждому из народов, в него входящих. У этого единства все признаки общества: существуют европейские нравы, европейские обычаи, европейское общественное мнение, европейское право, европейская политическая власть. Но все эти общественные признаки существуют на той стадии развития, на которой находится это европейское общество, уступающее в развитии своим составным частям — национальным государствам.

Поясню. Форма социального принуждения, каким является власть, есть в любом обществе, включая самые примитивные, где нет еще специальных институтов такого принуждения. Если подобный, специально выделенный институт именовать государством, можно сказать, что в иных обществах нет государственной власти, но говорить, что там нет власти вообще, нельзя. Может ли не быть ее там, где есть общественное мнение, если власть — всего лишь оружие, им заряженное? Ну а то, что европейское общественное мнение существует не один век и мощь его все растет, равно как и умение манипулировать им, оспаривать не приходится.

Посему советую читателю сдержать ухмылку, когда в последних главах моей книги он натолкнется на крайне смелое, в нынешних обстоятельствах, утверждение о возможном государственном единстве Европы. Не спорю,

что Соединенные Штаты Европы — одна из самых роскожных фантазий, и не приемлю того смысла, который в это словосочетание вкладывается. Но с другой стороны, кажется невероятным, чтобы такое зрелое общество, как общность европейских народов, не двигалось к созданию государственного механизма, который конкретизировал бы уже существующую европейскую общественную власть. Не склонность к фантазиям и не тяга к «идеализму», которого я не терплю и с которым всю жизнь борюсь, заставляют меня так думать. Это исторический реализм помогает мне видеть, что Европа как единое общество — не какой-то «идеал», а данность, давным-давно ставшая повседневной. А раз уж это очевидно, возможность общего государства становится необходимостью. Толчком к завершению этого процесса может послужить что угодно — к примеру, появление за Уралом китайской косички или извержение мусульманской лавы.

Это национальное государство будет, разумеется, выглядеть иначе, чем привычные уже формы, подобно тому, как наши национальные государства отличаются от античных государств-городов. На страницах книги я пытаюсь расщепить умы, чтобы они сумели остаться верными традиционному европейской идее государства и общества.

Античной мысли всегда было нелегко представить себе мир как динамическое равновесие. Она не могла оторваться от видимого и его подобий, как ребенок от книги, в которой ему понятны только картинки. Все усилия древних философов преодолеть эту ограниченность были тщетными. В их попытках понять неизменно присутствует, как парадигма, материальный объект, который для них «вещь» по преимуществу. Им удавалось представить лишь такое общество, такое государство, в котором единство принимало форму зримого

соприкосновения, соседства, — например, город. Совершенно иначе мыслит европеец. Для него все видимое — именно вследствие своей очевидности — всего лишь внешняя личина скрытой силы, которая непрерывно создает эту видимость и является ее подлинной реальностью. Там, где действующая сила, *dynamis**, объединяет, там реально существует единство, хотя внешние свидетельства этого могут выглядеть чем-то разрозненным.

Было бы по-античному ограниченным видеть общественную власть лишь там, где она носит уже привычную и как бы сросшуюся с обществом личину государственной, то есть в отдельных европейских странах. Решительно не согласен, что реальная власть общества в каждой из них проявляется исключительно во внутренней или национальной политике. Надо сразу сказать, что вот уже много веков европейские народы живут — и по меньшей мере четыре века сознают это — под властью, которая по своей сугубо динамической природе не поддается никакому иному определению, кроме почерпнутого из области механики — «европейское равновесие» или *balance of power***.

Это и есть историческое европейское правительство, которому подчиняется в своем полете рой народов, дружных и неуживчивых, словно пчелы, слетевшие с руин античного мира. Единство Европы — не фантазия, а самая что ни на есть реальность; как раз фантазия — это вера в то, что Франция, Германия, Италия или Испания действительно самостоятельны и независимы.

Понятно, что не для всех европейская реальность очевидна, потому что Европа — не «вещь», а равновесие. Еще в XVIII веке историк Робертсон назвал европейское равновесие «*the great secret of the modern politics*»***.

* сила (*греч.*).

** равновесие сил (*англ.*).

*** великий секрет современной политики (*англ.*).

Секрет великий и, бесспорно, парадоксальный! Ибо равновесие сил — это реальность, основанная на множественности, на плюрализме. Если он исчезнет, это динамическое единство разветвится. Европа действительно рой — множество пчел в едином полете.

Эту единую природу великолепного европейского разнообразия я бы назвал здоровой общностью, плодотворной и желанной, заставившей еще Монтескье сказать: «Европа — единая нация, состоящая из многих», а Бальзака — повторить в более романтическом ключе: «Великая континентальная семья, все силы которой отданы бог ведает какому таинству цивилизации».

Это европейское разноцветье, которое коренится в изначальном единстве и, выплескиваясь наружу, питает его, — драгоценнейшее достояние Запада. Столь акробатическая идея общности, при которой надо без усталки вывернуться, перескакивая от утверждения плюрализма к осознанию единства и наоборот, не для тупых мозгов. Темные головы природа фабрикует для восточных деспотий.

Однако сейчас на всем континенте утверждается форма общности, грозящая уничтожить наше достояние. Повсеместно воцаряется массовый человек, предмет моей книги, человеческий тип, изготовленный на скорую руку из немногих и немудреных абстракций и потому по всей Европе, из конца в конец, одинаковый. Это ему европейская жизнь обязана сегодня своим растущим удушливым однообразием. У этого массового человека заблаговременно отбита историческая память, выхолощено прошлое, и потому он податлив для всяческих назиданий, именуемых «интернациональными». Это не столько человек, сколько оболочка, муляж человека, подобие

пустотелых идиолов, которому недостает «нутра»; в нем нет личностного начала, непреклонного и неотчуждаемого, нет того «я», которое нельзя упразднить. Поэтому он вечно кого-то изображает и полагает, что у него есть одни права, не подозревая, что существуют обязанности и что вообще «благородство обязывает». Его-то оно не обязывает ввиду полного отсутствия: это человек *sine nobilitate* — snob*.

Этот вселенский снобизм, характерный и для рабочей среды, закупорил души, уже не способные понять, что если мы хотим преобразить весь сегодняшний строй европейской жизни, то делать это надо без непоправимой утраты ее внутреннего многообразия. Поскольку у сноба нет предназначения, нет собственной судьбы, которую некому поручить, нет дела, для которого он рожден, он совершенно не способен представить, что существуют призвание и служение, самые разные. Поэтому к либерализму он питает такую же неприязнь, как глухой к словам. Свобода всегда означала для европейца возможность стать тем, кто ты есть на самом деле. Понятно, что она отвращает тех, кто лишен и своего дела, и самого себя.

Сегодня всем миром ниспровергают и поносят старый либерализм с удивительным единодушием. Это подозрительно. Людей, как правило, сплачивает агрессивность и неразумие. Я не утверждаю, что старый либерализм единственно прав. Да и как ему быть таковым, если он старый и он «изм»? Но я утверждаю, что его общественные воззрения глубже и ценнее, чем коллективизм его хулителей, основанный на невежестве.

* В Англии при переписи населения указывалась профессия и сословие. Рядом с фамилиями простых горожан ставилась аббревиатура *s.nob.*, то есть *sine nobilitate* (неблагородный, чернь). Так произошло слово «сноб». — *Примеч. автора.*

Либерализм был дальновидней и проницательней в отношении Европы и обладал завидной интуицией.

Когда, например, Гизо, противопоставляя европейскую цивилизацию иным, отмечает, что она никогда не знала абсолютного господства какой-либо одной идеи, принципа, сословия или класса, слух невольно настораживается. Этот человек знает, что говорит. Фраза недостаточна, поскольку негативна, но доносит до нас увиденное в упор. От него, как от всплывшего водолаза, исходит запах глубин, и чувствуется, что этот человек действительно вернулся из недр европейского прошлого, куда сумел погрузиться. Просто невероятно, что в самом начале XIX века, во времена сумятицы и риторики, возникает такая книга, как «История цивилизации в Европе». Она и сегодня учит видеть, как нераздельны свобода и плюрализм и как неизменно они были душой Европы.

Я предложил бы читателю несколько тезисов — не для того чтобы он с ними согласился, но чтобы взвесил «за» и «против» и сделал выводы.

I. Персоналистский либерализм — плод XVII века; отчасти он воплотился в законодательстве Французской революции и угас вместе с нею.

II. Детищем XIX века стал коллективизм. Идея коллективизма была первым открытием новорожденного века, и на протяжении ста лет она лишь росла и развивалась, пока не заслонила горизонт.

III. Эта идея — французского происхождения. Впервые она появляется у архиреакционеров Луи де Бональда и Жозефа де Местра. Ее суть немедленно подхвачена всеми, кроме разве что Бенжамена Констана, этого «перезжитка» прошлого. Но апогея она достигает у Сен-Симо-

на, Баянша, Конта и пускает ростки повсюду. Например, лионский врач М. Амар еще в 1821 году персонализму противопоставил коллективизм.

Но куда важнее другое. Когда по ходу века мы приближаемся к великим теоретикам либерализма — Стюарту Миллю и Спенсеру, — то с удивлением обнаруживаем, что предполагаемая защита личности строится не на запросах личности и ее заинтересованности в свободе, а совершенно противоположным образом — на запросах и интересах общества. Воинственное название, которое Спенсер выбрал для своей книги «Личность против государства», превратно понято теми, кто читает одни названия. Поскольку «личность» и «государство» в этом названии — всего лишь органы единственного персонажа книги — общества. И обсуждается лишь одно — какой из этих органов лучше служит определенным общественным интересам. Только и всего. Пресловутый «индивидуализм» Спенсера постоянно боксирует в коллективистской среде спенсеровской социологии. В конечном счете он, как и Стюарт Милль, обращается к личности с той же общинной безжалостностью, с какой термиты обходятся с иными своими собратьями, которых откармливают, дабы потом высосать. Таков был примат коллективизма, общий фон, очевидный сам по себе, что бы там ни выплясывали его простодушные идеи.

Отсюда понятно, почему моему лоэнгринову порыву встать на защиту старого либерализма недостает убежденности и убедительности. Причина в том, что я не «старый либерал». Открытие коллективного было бесспорно значительным и фундаментальным, но слишком недавним. Люди не столько увидели, сколько ошупью натолкнулись на ту истину, что коллектив не сводится к простой сумме индивидов, и толком не разобрались, что он такое и каковы его свойства. Кроме того, социальные

условия времени затемняли подлинную экономику коллектива, поскольку тогда ей вменялось в обязанность хорошо питать индивидов. Не настал еще час обезлички, расхищения и дележа на всех уровнях.

Поэтому «старые либералы» слепо доверились коллективизму, едва вдохнув его воздух. Но когда непредвзятому взгляду ясно, что этот социальный феномен таит в себе не только преимущества, но и опасности, необходим радикально новый либерализм, не столь наивный и порядком искушенный в ратном деле, либерализм, который уже дает ростки и вот-вот возникнет на горизонте.

Эти люди отнюдь не страдали близорукостью, и было бы странно, если бы время от времени они не догадывались о тех мытарствах, которые готовил нам их век. Вопреки общепринятому мнению, угадывать будущее — для истории обычная вещь. У Маколея, Токвиля, Конта мы находим эскизы сегодняшнего дня. Перечтите написанное Стюартом Миллем больше восьмидесяти лет тому назад: «Исключая особые взгляды отдельных мыслителей, в мире растет и все усиливается стремление утвердить в самых крайних формах власть общества над индивидуумом, посредством как общественного мнения, так и законодательства. Поскольку все перемены, происходящие в жизни, ведут к росту общественных сил и подавлению индивидуальных, это половодье зла не спадет само по себе, а, напротив, будет становиться все более угрожающим. Стремление людей, будь то правители или сограждане, навязать другим как норму поведения свои мнения и вкусы, находит такую решительную поддержку со стороны как наилучших, так и наихудших свойств человеческой природы, что не довольствуется ничем, кроме полноты власти. И поскольку эта власть

явно не клонится к упадку, а, напротив, растет, следует ожидать, если только мощная преграда нравственности не встанет на пути зла, следует ожидать, повторяю, что при современном состоянии мира упомянутое стремление будет лишь возрастать».

Но особенно близка нам в Стюарте Милле его обеспокоенность «дурной однородностью», в которую на его глазах погружалась Европа. Поэтому он так ухватился за великую мысль, высказанную в молодости Гумбольдтом. Чтобы человеческая природа расцветала, крепла и совершенствовалась, необходимо, согласно Гумбольдту, «многообразии ситуаций». Внутри одного народа или в сообществе народов необходима разнообразная среда, самые различные обстоятельства и возможности. Тогда, если один выход закроется наглухо, останутся распахнутыми другие. Безрассудно ставить европейскую жизнь на одну-единственную карту, делать ставку на один и тот же человеческий тип, на одну и ту же «ситуацию». Стремление избежать этого — секрет европейских успехов, и все, что звучало, внятно или невнятно, из уст неистребимого европейского либерализма, рождено сознанием упомянутого секрета. В этом сознании распознавал себя как безусловную ценность, как благо, а не как зло, европейский плюрализм. Я должен был все это прояснить, чтобы выдвинутая в моей книге идея европейского сверхгосударства не толковалась превратно. Пока все идет так как есть и «многообразие ситуаций» упорно сокращается, мы движемся прямой дорогой к византийщине. Тогда ведь тоже было время масс и зловещей однородности.

Еще при Антонинах с имперским населением начало твориться нечто странное, историками едва замеченное и не исследованное как должно, — люди стали глу-

петь. Процесс шел уже давно. Считается, и не без основания, что стоик Посидоний, учитель Цицерона, был последним человеком античности, способным подойти к явлениям пытливо и деятельно, с готовностью их исследовать. После него началась закупорка мозгов, и все, кроме александрийцев, лишь повторяли и тиражировали старое.

Но самый зловещий симптом и результат того состояния, одновременно однородного и отупелого — одно с другим связано, — в которое впала жизнь на всем имперском пространстве, обнаруживается там, где меньше всего можно его ждать и где, насколько я знаю, никто еще не искал его, — в языке. Каждому в отдельности язык не позволяет выразить то, что хотелось бы высказать, но он разоблачает и помимо нашей воли доводит до слуха скрытое самочувствие общества, на нем говорящего. Исключая эллинизированную часть населения, живым языком империи была так называемая «вульгарная латынь», прародительница наших романских языков. Мы о ней мало знаем и большей частью приходится ее реконструировать. Но и скудных знаний хватает с лихвой, чтобы ужаснуться. Во-первых, немыслимому упрощению грамматики по сравнению с классической латынью. Сочная индоевропейская сложность, которую сохранял язык верхов, была вытеснена плебейским говором, упрощенным и легким, но при этом, или скорее поэтому, грубо механическим, как рабочий инструмент, с невнятной и приблизительной грамматикой — наугад и невпопад, как у детей. В общем, младенческий язык, детский лепет, неспособный ни гранить мысли, ни расцветивать чувства. Язык, лишенный светотени, лишенный яркости и душевного жара, убогий язык, бредущий на ощупь. Слова — словно старые медяки, захватанные

и бесформенные от бесконечного блуждания по средиземноморским кабакам. Сколько жизней, не ведающих себя, оскопленных, обреченных на прозябание, угадывается за этим языковым суррогатом!

Вторая пугающая черта вульгарной латыни — это как раз однородность. Лингвистов, которые, возможно, после авиаторов наименее склонны чего-либо пугаться, похоже, не смущает то обстоятельство, что так одинаково говорили в таких неодинаковых странах, как Ливия и Галлия, Тингитания и Далмация, Паннония, Испания и Дакия. Я, напротив, довольно боязлив и не в силах унять дрожь перед таким фактом. Мне он кажется просто чудовищным. Правда, я стараюсь представить себе, чем было изнутри то, что снаружи нам кажется невозмутимой однородностью, стараюсь под этим мертвым слепком обнаружить живую действительность. Разумеется, были африканизмы, испанизмы, галлицизмы. Но это лишь подтверждает, что корпус языка был общим и одинаковым, несмотря на расстояния, на разобщенность, на отсутствие связей и неучастие литературы в упрочении языка. Что же могло так уравнивать кельтибера и белга, жителя Карфагена и Лютетии, ливийца и дака, если не общий пресс, который придавил и расплющил их жизни. Вульгарная латынь пылится в архивах, как леденящая окаменелость, мертвый свидетель того, как под пятой вульгарной однородности агонизировала история, утратив животворное «многообразие ситуаций».

Я не политик, и книга моя далека от политики. Ее тема — то, что предваряет политику. Мой труд — это подземный шахтерский труд впотьмах. Задача так называемых «интеллектуалов», в какой-то степени, противоположна задачам политиков. Труд интеллектуала, часто напрасный, — как-то прояснить положение вещей, дело

политика — затемнить его как можно больше. Быть левым, равно как и правым, — один из бесчисленных человеческих способов быть глупым; и то, и другое — в конечном счете, разновидность одностороннего нравственного паралича. К тому же привычность этих определений еще более фальсифицирует нашу «действительность», и без того фальшивую, поскольку политическое экспериментаторство завершило мертвую петлю и сегодня мы наблюдаем, как правые козыряют революцией, а левые — тиранией.

Наболевшие вопросы надо решать. Это наш долг. И я делаю это всю жизнь. Я всегда был на линии огня. Но сегодня требуют — такова «тенденция», — чтобы все поголовно, даже ценой умственного помрачения, занялись политикой *sensu stricto**. Требуют, разумеется, те, кому заняться больше нечем. И даже подкрепляют это цитатами из Паскаля, рекомендуя abetissement**. Но я давно уже приучил себя настораживаться, когда цитируют Паскаля. Чисто гигиеническая предосторожность.

Всеобщая политизация, поглощение политикой всех и вся — не что иное, как восстание масс. Мятежная масса утратила малейшую способность к религии и знанию. Она не может вместить ничего, кроме политики — политики раздутой, безудержной, хлынувшей через край, чтобы вытеснить религию, знание, *sagesse****, словом, то единственное, что способно по своей природе завладеть человеческим разумом. Политика отнимает у человека его сокровенное, лишает одиночества, и потому проповедью всеобщей политизации пользуются, чтобы обобществить человеческую личность.

* в строгом смысле слова (*лат.*).

** поглупение (*фр.*).

*** мудрость (*фр.*).

Если кто-то спросит, какой вы партии, или поспешит с уже привычной для всех бесцеремонностью завербовать вас в одну из них, надо не объясняться с насильником, а на вопрос ответить вопросом, что такое, по его разумению, человек, что такое природа, история, личность и общество, что такое коллективизм и государство, обычай и право. Европейская мысль обязана внести полную ясность в эти вопросы. Затем она и существует, а не для того, чтобы распускать павлиний хвост на академических конференциях.

При виде городского скопища человеческих существ, которые снуют по улицам и теснятся на представлениях и митингах, меня преследует одна мысль. Может ли сегодня двадцатилетний юноша наметить личную жизненную программу, требующую собственных усилий и независимых решений? Мысленно развивая ее, не убедится ли он, что задуманное если не безнадежно, то маловероятно, потому что нет в его распоряжении пространства, где он мог бы осуществляться и действовать по собственной воле? Он быстро увидит, что его программа упирается в ближнего, и жизнь ближнего стесняет его собственную. Разочарование и свойство молодости легко приспособляться заставят его отказаться не только от самостоятельных поступков, но даже от собственных желаний, и скорее всего он найдет иной выход — представит себе стандартную жизнь с ее общими для всех запросами и поймет, что удовлетворить их сможет лишь в коллективе, среди себе подобных. Отсюда общая установка — действовать массой.

Судьба незавидная, но, думается, я не утрирую картину того, что ждет европейцев. В переполненной тюремной камере никто не может шевельнуть рукой по своему желанию. В такой обстановке любое движение должно совершаться сообща, и даже дыхание подчиня-

ется общему ритму. Такой была бы Европа, превращенная в муравейник. Но даже эта зловещая картина — еще не развязка. Человеческий муравейник невозможен, потому что существовал так называемый индивидуализм, который обогатил всех и каждого — и это богатство дало сказочный рост человеческой порошли. Если бы последние остатки этого индивидуализма исчезли, Европу охватила бы чудовищная византийская дистрофия и муравейник бы рассыпался, словно от дыхания грозного и мстительного бога. Перевелись бы все те, кто чуть выше остальных.

Перед грозной патетикой подобной перспективы, которая, помимо нашей воли, уже приоткрывается, вопросы «социальной справедливости», столь превозносимой, тускнеют и становятся такими мелкими, что кажутся притворными романтическими вздохами. Но в то же время они направляют на верный путь, позволяющий достичь того, что достижимо из этой «социальной справедливости», и осуществить то, что справедливо, — на путь, ведущий не к унылой социализации, а к достойной солидарности. Впрочем, это слово малоупотребительно, потому что все еще не сконцентрировало в себе мощный сгусток исторических и социальных идей, а напротив — отдает туманной филантропией.

Для улучшения нынешнего положения дел прежде всего необходимо понимание его непомерной тяжести. Лишь это поможет атаковать зло в тех глубинных тайниках, где оно в действительности зарождается. По правде говоря, действительно трудно спасти цивилизацию, когда она во власти демагогов. Демагоги всегда были душами цивилизаций. Греческая и римская задохнулись в лапах этих омерзительных двуногих, заставивших Маколея воскликнуть: «В любом веке худшие образчики

человеческой породы представлены демагогами». Но демагог — не просто человек, взывающий к толпе. Иногда это священный долг. Сущность демагога — в его мышлении и в полной безответственности по отношению к тем мыслям, которыми он манипулирует и которые он не вынашивал, а взял напрокат у людей действительно мыслящих. Демагогия — это форма интеллектуального вырождения, и как массовое явление европейской истории она возникла во Франции к середине XVIII века. Почему именно тогда? Почему именно во Франции? Это один из самых болезненных моментов в судьбе Запада и особенно в судьбе Франции.

С этого момента Франция, а под ее воздействием — и весь континент уверовали, что способ разрешения огромных человеческих проблем — революция, под которой понималось то, что еще Лейбниц назвал «всеобщей революцией»*; стремление одним махом изменить все и во всех сферах**. Именно поэтому такая чудесная страна сегодня так неблагополучна. У нее революционные традиции или по крайней мере вера в то, что они есть. И если нелегко быть просто революционером, насколько тяжелей и парадоксальней быть революционером наследственным! Да, во Франции была одна великая революция и еще несколько, грозных или смехотворных, но

* «Я нахожу, что подобные взгляды понемногу проникают в высшее общество, в умы людей, которые управляют другими и от которых зависит состояние дел, и проскальзывают в книги, предуготовляя все и вся ко всеобщей революции, которая грозит Европе» («Новые опыты о человеческом мышлении». Т. IV, гл. XVI). Из этого следуют два вывода. Первый — в 1700 году (приблизительно тогда Лейбниц написал эти строки) человек был способен предвидеть то, что произошло век спустя. Второй — истоки сегодняшних бед Европы хронологически и потенциально глубже, чем принято думать. — *Примеч. автора.*

** «...Наш век, который видит себя призванным изменить законы во всех сферах...» (Д'Аламбер. Вступительное слово к Энциклопедии // Сочинения. Т. I. С. 56. 1821). — *Примеч. автора.*

если обратимся к беспристрастным анналам, то убедимся, что благодаря всем этим революциям во Франции, как нигде, все столетие, кроме считанных недель или даже дней, держался в той или иной мере авторитарный или контрреволюционный режим. А такая моральная рытвина французской истории, какой стали два десятилетия Второй Империи, всецело обязана своим появлением сумасбродству революционеров 48-го года, большинство которых, по признанию самого Распая, были его пациентами.

В революциях абстрактное пытается восстать против конкретного, поэтому революция обречена на провал, она с ним единосущна. Человеческие проблемы в отличие от астрономических или химических не абстрактны. Они предельно конкретны, потому что они историчны. И единственный способ мыслить, дающий какие-то шансы на успех в разрешении таких проблем, — это «исторический разум». Если обозреть общественную жизнь Франции за последние полтора века, бросится в глаза, что ее геометры, ее физики и ее медики почти всегда ошибались в своих политических выкладках, а вот историки, напротив, умудрялись попадать в цель. Но физико-математический рационализм во Франции слишком гордился собой, чтобы не властвовать в общественном сознании. Мальбранш порвал со своим другом, увидев у него на столе Фукидида.

Месяц назад, разгоняя одиночество на парижских улицах, я вдруг понял, что у меня в огромном городе нет знакомых, кроме статуй. А вот они, напротив, мои старые друзья, давние вдохновители или вечные наставники. И поскольку мне больше не с кем было перекинуться словом, с ними и беседовал я о делах человеческих. Не знаю,

увидят ли когда свет мои «Беседы с памятниками», скрасившие мне горький и бесплодный отрезок жизни.

И, естественно, больше всего мне хотелось выслушать нашего общего учителя Декарта, человека, которому Европа обязана как никому. По воле случая, который не раз перетряхивал мою жизнь, я пишу эти строки в том уголке Голландии по имени Эндегест, где обитал в 1642 году новый провозвестник разума, и деревья над его домом затевают мое окно. Сейчас это дом сумасшедших. Дважды в день, предостерегающе близко, я вижу, как безумные и слабоумные выгуливают на свежем воздухе свою человеческую несостоятельность.

Три столетия «рационализма» заставляют освежить в памяти чудесный картезианский *raison**, его блеск и ограниченность. *Raison* — это математика, физика, биология. Его торжество над природой, превзошедшее самые смелые мечты, лишь подчеркивает его беспомощность в делах сугубо человеческих и требует его включения в более всесторонний «исторический разум».

Тогда выявляется бесплодность любой «всеобщей» революции, любой попытки разом изменить общество и начать историю заново, как замышляли смутьяны 89-го года. Революционному методу противостоит единственно достойный нашего векового опыта. Революции, безоглядные в своей нетерпеливой спешке, лицемерно щедрые на обещания всевозможных прав, попирают первейшее право человека, настолько первейшее, что оно определяет человеческую сущность, — право на непрерывность, на преемственность. Единственное коренное отличие «естественной истории» от человеческой в том, что последняя не может начинаться заново. Кёлер и дру-

* разум (*фр.*).

гие показали, что орангутанг и шимпанзе отличаются от человека не тем, что принято называть умственным развитием, а короткой памятью. Бедные животные начинают новый день, не помня почти ничего из пережитого вчера, и потому их интеллект вынужден обходиться жалкими крохами опыта. Современный тигр таков же, как и шесть тысяч лет назад, потому что каждый тигр должен заново становиться тигром, словно у него и не было предшественников. Напротив, человек благодаря своей способности помнить копит собственное прошлое, владеет им и извлекает из него пользу. Он никогда не окажется первым на Земле человеком — его существование начинается на определенной высоте, на вершине накопленного. Это единственное богатство человека, его привилегия и его родовой признак. И наименее ценно в этом богатстве то, что кажется удавшимся и достойным памяти: главное и самое важное — это память об ошибках, позволяющая избегать их. Подлинное богатство человека — это богатство человеческих ошибок, накопленный тысячелетиями жизненный опыт. Поэтому высший человеческий тип Ницше определил как существо «с самой долгой памятью».

Попытка порвать с прошлым, начать все с нуля — это попытка стать или притвориться орангутангом. Мне отраднo, что нашелся француз, Дюпон-Уайт, который в 1860 году отважился воскликнуть: «Преемственность — это право человека, это дань уважения всему, что отличает его от животного».

Передо мной журнал с описанием празднеств, которыми Англия отметила коронацию нового короля. Всем известно, что английская монархия давно уже существует лишь номинально. Это верно, но главное в другом. Действительно, монархия не играет в Британской импе-

рии никакой видимой роли. Не правит, не вершит правосудие, не распоряжается войсками. Но она не бесплотна и не кажется фиктивной. У монархии в Англии весьма определенное и крайне действенное назначение — она символизирует. Поэтому английский народ с нарочитой торжественностью празднует сегодня коронацию.

Это народ, который всегда первым достигал будущее, опережая других почти во всем. Практически слово «почти» можно опустить. И вот он, с несколько вызывающим дендизмом, заставляет нас присутствовать при старинном ритуале и видеть, как вступают в силу — ибо они никогда ее не утрачивали — самые древние и магические символы его истории, корона и скипетр, которые у нас правят лишь карточной игрой. Англичанин вынуждает нас убедиться, что его прошлое именно потому, что оно прошло, а значит — было, продолжает для него существовать. Из будущего, до которого мы еще не добрались, он свидетельствует о живом присутствии и полноправии своего прошлого. Этот народ накоротке со временем, он действительно хозяин своих столетий и толково ведет хозяйство. Это и значит быть людьми — следуя прошлому, жить будущим, то есть действительно пребывать в настоящем, ибо настоящее — лишь наличие прошлого и будущего, то единственное место, где они реально существуют.

Символическим ритуалом коронации Англия в очередной раз противопоставляет революционности преемственность, единственное, что позволяет избежать того патологического крена, который превращает историю в вечный бой паралитиков с эпилептиками.

Не без насилия над собой я в своей книге выделил из той проблемы, которую представляет для человека, и в особенности — для западного человека, его ближай-

шее будущее, лишь одну-единственную линию — характеристику заурядности, которая начинает сегодня господствовать. Это потребовало от меня сурового аскетизма, обета молчания по поводу многого, затронутого похода. Более того, это часто вынуждало представлять вещи в таком ракурсе, который был наилучшим для освещения упомянутой темы и наилучшим для выражения моих взглядов на этот предмет. Приходилось лишь обозначать проблему, пусть и фундаментальную. Я мерил сегодняшнего среднего человека мерой его способности продолжать современную цивилизацию и его причастности к культуре. Возможно, кто-то скажет, что то и другое — цивилизация и культура — не моя тема. Но что бы ни говорили, в действительности именно о них все написанное мною, начиная с самых первых страниц. Однако я не мог усложнять вопрос. Каковы бы ни были наши взгляды на цивилизацию и культуру, есть нечто первостепенное, с чем нельзя не считаться, — аномалия в лице массового человека. И грубо обрисовать его было делом безотлагательным.

Большого французский читатель не должен ждать от этой как бы книги, а в сущности — попытки просвета в гуще грозы.

1937